



Станислав Юрьевич Куняев

Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16898948
Возвращенцы. Где хорошо, там и родина: Алгоритм; Москва; 2006
ISBN 5-9265-0239-X

Аннотация

Как в конце XX века мог рухнуть великий Советский Союз, до сих пор, спустя полтора десятка лет, не укладывается в головах ни ярых русофобов, ни патриотов. Но предчувствия, что стране грозит катастрофа, появились еще в 60–70-е годы. Уже тогда разгорались нешуточные баталии прежде всего в литературной среде – между многочисленными либералами, в основном евреями, и горсткой государственников. На гребне той борьбы были наши замечательные писатели, художники, ученые, артисты. Многих из них уже нет, но и сейчас в строю Михаил Лобанов, Юрий Бондарев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Валентин Распутин, Сергей Семанов... В этом ряду поэт и публицист Станислав Куняев. Его книга – о непрекращающейся войне и на новом витке истории. Книга известного русского поэта, публициста и общественного деятеля Станислава Куняева посвящена как и почти все его произведения теме Родины, тому как относятся к России, к русской культуре различные представители творческой интеллигенции. Автор убедительно доказывает, что для многих из них, особенно из числа еврейской интеллигенции, Россия и русский народ являются в лучшем случае отвлеченными понятиями а в худшем – вызывают неприятие доходящее до ненависти к нашей Родине. В сущности, эти творческие деятели всегда имели двойное гражданство и как только представилась возможность немедленно покинули нашу страну, забыв о своих былых верноподданнических уверениях.

Содержание

Часть I	4
«Наш первый бунт»	4
Русско-еврейское Бородино	22
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Станислав Юрьевич Куняев

Возвращенцы. Где хорошо, там и Родина

Часть I

«Наш первый бунт»

Многие функционеры идеологической и литературной жизни 60–80-х годов, которые всеми средствами боролись с нами в те времена, сегодня издали свои воспоминания. Читайте Александра Борщаговского, Раису Лерт, Раису Орлову-Копелеву, Льва Копелева, Анатолия Рыбакова, Льва Разгона, Михаила Козакова (всех не перечислить, имя им легион), и у всех, когда речь заходит о нашем противостоянии, одно и то же: «антисемитизм, антисемитизм, антисемитизм».

Однако, восстанавливая в памяти атмосферу тех лет, вспоминая наши разговоры о Даниэле и Синявском, о Бродском, о Галиче, о «Метрополе», о Тарсисе, о бегстве Анатолия Кузнецова за рубеж, могу, положив руку на сердце сказать: главная наша забота была не о том, кто из диссидентов еврей, а кто нет... Мы с той же недоверчивостью и отчужденностью относились к диссидентам-нееврейцам: Виктору Некрасову, Владимиру Максиму, Андрею Синявскому, Александру Зиновьеву, Эдуарду Лимонову, генералу Григоренко, Анатолию Марченко.

Русские писатели отстранились от диссидентов и не принимали их лишь потому, что чувствовали: воля и усилия этих незаурядных людей разрушают наше государство и нашу жизнь. Мы были стихийными, интуитивными государственниками, еще не читавшими Ивана Солоневича и Ивана Ильина, но уже тогда осознававшими, какие страшные жертвы понес русский народ за всю историю, и особенно в XX веке, строя и защищая свое государство; и как бы предчувствуя кровавый хаос, всегда возникающий на русской земле, когда рушится государство, как могли, боролись с вольными и невольными его разрушителями. И не наша вина, что авангард разрушителей состоял в основном из евреев, называвших себя борцами за права человека, социалистами с человеческим лицом, интернационалистами, демократами, либералами, рыночниками и т. д. Мы уже знали, что, когда им нужно защитить их общее дело, тогда их общественно-политические разногласия как по команде забываются, и еврей-коммунисты вдруг становятся сионистами, интернационалисты – еврейскими националистами, радители «советской общности людей» эмигрируют в Израиль, надевают ермолку и ползут к Стене Плача.

Сегодня им скрывать нечего, и они во множестве своих мемуаров откровенно пишут о том, какими чувствами и мыслями жил в 60–80-е годы их круг, избравший своим гимном песенку Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья...».

Я принадлежал к довольно распространенной в художественных кругах России группе населения, – пишет в своих мемуарах актер Михаил Козаков. – Как ее определить – право, не знаю, Галина Волчек, Игорь Кваша, Ефим Копелян, Зиновий Гердт, Александр Ширвиндт, Марк Розовский, Михаил Ромм. Анатолий Эфрос... Фамилии и примеры позволительно множить вне зависимости от процента еврейской крови, вероисповедания или атеистического направления ума... Я не скрывал, что во мне есть еврейская кровь, как и другие, ненавидел и презирал антисемитизм и антисемитов.

Как и другие из нашего круга, спотыкался на юдофобии любимейших Чехова и Булгакова, гордился успехами Майи Плисецкой, Альфреда Шнитке или Иосифа Бродского...

Сейчас люди вроде Михаила Козакова с удовольствием выбалтывают многие тайны и секреты жизни своего круга, тайны, тщательно скрывааемые от мира в те времена.

А если кто-то на нас догадывался, какие страсти кипят в этом кругу «взявшихся за руки», и, не дай Бог, открыто говорил или писал об этом, какой ор, какой возмущенный вопль исторгался из недр еврейской компашки! Все сразу вспоминали их адвокаты – и то, что они советские, и то, что отцы были пламенными революционерами, и что дружба народов – святая святых вашего общества, и что нечего «разделять людей по национальному признаку».

А теперь что? Теперь можно обнародовать изнанку той жизни, и Михаил Козаков с удовольствием обнародует ее:

В начале 70-х уезжал художник Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машины, лучшие женщины, модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: «Почему, Лева?» Он: «Да, все это у меня здесь есть, если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что ждет меня там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. – Ст. К.) Но как бы тебе это поточнее...

Понимаешь, это кино мне уже показывали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю...

Нет, молодец Александр Куприн. Хорошо он знал их натуру. Как эта история Збарского и людей, ему подобных, их отношение к России, похожа на историю, рассказанную Куприным в знаменитом и скандальном его письме к Ф. Батюшкову, написанной аж в 1909 году:

Один парикмахер стриг господина и вдруг, обкорнав ему полголовы, сказал «извините», побежал в угол мастерской и стал ссать на обои, и когда его клиент очоленел от изумления, Фигаро спокойно объяснил:

– Ничего-с. Все равно завтра переезжаем-с.

Таким цирюльником во всех веках и во всех народах был жид со своим грядущим Сионом.

Вот эти слова «все равно завтра переезжаем-с» глубоко запали мне в память. Лев Збарский, Лев Копелев, Василий Аксенов, Анатолий Гладилин – все они в определенный момент начинали вести себя как цирюльник из купринского письма... Как будто из какого-то тайного центра прозвучал тайный приказ, и все они, как муравьи, послушно переменили взгляды, убеждения, чувства.

Мы так не умели и не могли. В этой способности коллективного лицедейского перевоплощения в зависимости от исторических обстоятельств была циничная сила людей подобного склада. Ведь почти все они дети «пламенных революционеров», пропагандистов социализма, секретарей обкомов, певцов ГУЛАГа.

Отец Михаила Козакова, так же как отцы Натана Эйдельмана или Юрия Нагибина, славили Беломорканал, отец Льва Збарского балзамировал Ленина, сам Михаил Козаков с необыкновенной страстностью и талантом всю жизнь играл Дзержинского... Э! Да что говорить! Плохо мы их знали в те годы...

Но, к сожалению, и с русскими националистами вроде Леонида Бородина и Владимира Осипова мы не могли окончательно породниться, потому что их «русское диссидентство» по-своему тоже было разрушительным, а мы стремились к другому: в рамках государства, не разрушая его основ, эволюционным путем изменить положение русского человека и русской культуры к лучшему, хоть как-то ограничить влияние еврейского политического и культурного лобби на нашу жизнь. Нам казалось, что шансы для такого развития событий у истории есть... И они были. Разрушать же государство по рецептам Бородина, Солженицына, Оси-

пова, Вагина с розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не могли делать ставку. Слишком высока была цена, которую пришлось бы заплатить в случае поражения.

Кстати, именно такую цену за совершившуюся антисоветскую авантюру наше общество и ваш народ и платит сегодня.

А с русскими диссидентами нас разделяло то, что мы ни при каком развитии событий не могли и помыслить о том, что можем уйти в эмиграцию и покинуть вашу страну. Мы не могли, живя в СССР, позволить себе каприза печататься за границей. Это было чревато вынужденной или добровольной эмиграцией. Такой вариант судьбы мы отвергали сразу», и это резко отделяло нас от «русской национальной диссидентуры».

Мы хотели, чтобы ваши взгляды распространялись на родине открыто, и раздвигали границы гласности у себя дома. Пути «подполья», по которым шли журнал «Вече» или ВСХСОН, казались нам сектантскими и в той или иной степени объективно смыкавшимися с путями правозащитных организаций, «хельсинкских групп», Солженицынского фонда и т. д.

А еврейское лобби, чувствуя все нарастающую поддержку «мирового сообщества», нагнело все больше и больше. Я помню, в какое бешенство я пришел, прочитав исповедь какого-то полупозта-полупублициста В. Хазанова (Файбисовича), эмигрировавшего в начале 70-х в Европу. Он плакался об утрате России такими словами:

Мы бы не ощущали так живо свою утрату, если бы не были наследниками великой и рухнувшей культуры. А мы ее наследники, пусть оскудевшие и полузаконные, но наследники. Недаром мы говорим по-русски лучше, чем большинство русских.

И это говорилось с фарисейской ядовитой кротостью в годы, когда лучшие свои книги писали Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Юрий Кузнецов, Николай Тряпкин! Поистине было отчего людям легковоспламеняющимся, вроде меня, прийти в ярость. Тем более что Хазанов в своей закомплексованной гордыне проговорился о многом, о чем мы лишь догадывались:

Заполнив вакуум, образовавшийся после исчезновения старой русской интеллигенции (как мягко и обтекаемо сказано, как будто не было чекистских погромов этой интеллигенции в 20–30-е годы под руководством Троцкого, Ягоды, Френкеля, Ярославского, Агранова и т. д.! – Ст. К.), евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями.

Нет, терпеть такие унижения было невозможно...

Для того чтобы показать, как созревало мое национальное самосознание в 70-х годах, приведу выписки из дневника тех лет:

16.01.1971 г. В сегодняшней «Правде» статья о Солженицыне. Дело идет к тому, что его вышлют на Запад. Как бы я ни ценил его талант – приходится признать, что он не в себе: не понимает, что обратного пути нет, что приходится жить в той России, которая есть и будет, думать о ее будущем, а не о прошлом...

История с Сахаровым и Солженицыным, которых наше могучее государство не может ни замолчать, ни посадить, ни выгнать за границу, ни убить, ни опубликовать – необыкновенно интересное свидетельство нынешнего нашего положения.

Хочется быть демократическим государством, а не можем. Не растет это дерево на русско-советской почве. У демократии, несмотря на все ее безобразия, есть свои правила игры, а мы хотим поиграть в нее, но не до конца, а до середины.

Впрочем, неизвестно, что лучше. Пока в обществе есть силы и ситуации, создающие напряженность духовной жизни, я, как художник, чувствую себя необходимым. Что толку, если я смогу говорить, что хочу, а меня слушать будет некому? Останется разве что детективы сочинять?

18.01.1974 г. Рубцов похоронен, Передреев пьет и разрушается. Немота овладела им. Игорь болен, и не видно просвета в его болезнях. Соколов слишком устал от своей жизни. Неужели мне придется в старости, если доживу до нее, залезть в нору, как последнему волку, и не высовываться до конца дней своих?

25.01.1974 г. То, что Блок, будучи, по существу, антисемитом, ни разу в своем творчестве этого не обнаружил (а только в записных книжках и дневниках) – не случайно. Дело не в страхе. Блок ничего не боялся. Да и не стыдился он перед собою этого чувства. Но обнаруживать это чувство – значило скатываться к тем слоям общества, которых либеральная часть его души не принимала. Но нельзя забывать и о другом. Блок перед смертью пересмотрел тщательным образом все свои записные книжки и дневники. Все, что он не хотел оставлять для изучения потомков – уничтожил.

Но антиеврейские страницы оставил. В этом тоже есть какая-то тайна и какой-то завет.

26.01.1974 г. Литература русская гибнет, с одной стороны, от постоянной административной обработки наших чиновников, чаще всего русских по происхождению. А с другой – от еврейской отравляющей воздух беллетристики, от многонациональной переводной болтушки для свиней, изготовленной по ихнему рецепту. Обе эти силы прекрасно знают о существовании и деятельности друг друга. Сферы их влияния поделены, и никогда они не подымут руку друг на друга.

Ворон ворону глаз не выклюет.

16.02.1974 г. Читаю рукопись какого-то еврея-физика о России, о Советской власти, научно-техническом прогрессе, морали и т. д. (Витя Гофман подсунул, он в восторге). Главная идея такова: русское дворянство и народ никогда не сливались в одну нацию. В сущности это всегда были две нации. Немудреный подтекст: русским народом можно властвовать кому угодно – варягам, татарам, немцам, почему бы, в новых условиях не евреям? Но за всеми доказательствами, силлогизмами, аналогиями слышится приглушенный вопль: «Не удалось превратить Россию в землю обетованную! Со-о-о-рвало-о-сь! Что-о-оже дела-а-ть?!»

29.02.1976 г. Звонит Анатолий Клитко. Звонит раз в 6 лет: «Лица человеческого жажду. Коржев приезжал – нет уже на нем лица. Надо встретиться. Книжку твою прочитал. Вспомнил Вазир Мухтара. Слом времени. Новые люди приходят. Нет им дела ни до чего старого». ...Звонки наших алкоголиков для меня дороже любых статей о моем творчестве.

9.08.1976 г. Умер Михаил Луконин. Верченко на заседании похоронной комиссии упрекал директора Литфонда за то, что последний не гарантирует доставку гроба точно к 10.00. – Хочу вам еще раз напомнить, что похороны эти не простые, а государственные...

Одна строчка есть у Луконина по поводу того, о чем он не хотел думать: «Я падал вверх».

16 мая 1977 г. Недоумение Слуцкого по поводу того, откуда «антисемитизм Станислава» – от Достоевского или Палиевского – наивно: от русофобства 20–30 годов, от национального чувства, уязвленною массовой эмиграцией еврейства после 67 года, после арабско-израильской войны. А Достоевского я читал гораздо раньше, но одно дело читать, другое быть свидетелем исторических сдвигов.

В конце 1977 года произошло событие, властно повлиявшее на мои чувства. В Таджикистане погиб мой лучший друг, поэт и геолог Эрнст Портнягин, с которым я дружил более пятнадцати лет, бок о бок с которым провел несколько полевых сезонов в горах Тянь-Шаня. Он был русским по матери и евреем по отцу. Подчеркиваю это, чтобы еще раз показать: какая кровь текла в жилах моих друзей – не имело для меня значения. Эрик был русским поэтом, русским патриотом и русским государственным.

Когда мы хоронили его в запаянном цинковом гробу на Хованском кладбище, я подумал: «Вот так и со мной может произойти. Несчастный случай – и все годы, которые ты готовил себя к большому делу, к борьбе за судьбу русской культуры и, может быть, за судьбу Рос-

сии, – все пойдет псу под хвост. Надо действовать, пока есть силы, пока не поздно». Потому в конце 1977 года, когда Вадим Кожин позвонил мне и предложил выступить в дискуссии, которая называлась коротко и емко: «Классика и мы», я решил бросить этой мафии в лицо все, что думаю о ней. Спасибо Кожину, организовавшему наш бунт.

Мне ничего и не приходилось сочинять для этой дискуссии. Все дело в том, что незадолго до нее я прочитал книгу «Воспоминания о Багрицком», в которое авторы (Антокольский, Тарловский, Сельвинский, Колосов, Гинзбург и другие) без стыда и чувства меры сравнивали его с Пушкиным, Блоком, автором «Слова о полку Игореве», Ильей Муромцем, называя «гением», «классиком», «великим лириком», вошедшим в историю «советской и мировой литературы». Я подумал: нет худа без добра! Они, как всегда, зарвались и дали мне повод для открытого боя.

Я написал большую статью об этой книге воспоминаний, искреннюю, живую, доказательную, но, пойдя по журналам, обнаружил: все «русские» журналы боятся ее печатать. Я ткнулся в двери изданий среднелиберального характера, но и там мне дали от ворот поворот. И вот возникла возможность обнародовать все свои мысли с трибуны. Необычный сценарий увлек меня. Однако я колебался, чувствуя, что близок выбор, который определит дальнейшую судьбу.

То, что я, бывший тогда одним из рабочих секретарей Московской писательской организации, могу потерять свою должность, кресло, зарплату в триста рублей, некоторое влияние на литературно-издательскую жизнь, – меня не тревожило. Я, честно говоря, тяготился я рутинной работой и правилами игры, которые должен был соблюдать.

Да и попал в это кресло, как сейчас понимаю, случайно. Мой предшественник Михаил Львов ушел в «Новый мир» к своему другу Наровчатову, надо было срочно кого-то сажать на рабочее место, и первый секретарь Московской писательской организации прозаик Сергей Смирнов, автор знаменитой тогда «Брестской крепости», будучи уже смертельно больным человеком, недолго думая, предложил мне, в то время уже имевшему репутацию известного поэта и энергичного человека, эту номенклатурную должность... Я пошел туда ради интереса, поглядеть, что такое служба, но по душе и по природе оставался «вольным охотником», авантюристом и независимым человеком. «Так что Бог с ней, с этой работой, коль события примут крутой оборот», – подумал я и принял решение выступить на дискуссии.

Однако у меня был и второй вариант выступления. В нем я готов был высмеять и дискредитировать, насколько мне это удастся, практику неестественного создания руками мощного еврейского переводческого клана живых классиков из писателей национальных республик. Помню, как меня всегда корбила фотография в коридоре Союза писателей СССР, на которой были изображены два Героя Социалистического Труда – русский Михаил Алексеев и аварец Расул Гамзатов. Фотограф схватил тот момент, когда Алексеев выглядывает откуда-то, чуть ли не из подмышки Гамзатова, смотрит снизу вверх каким-то подобострастным взглядом, а над ним, как глыба, с толстомордой, обросшей короткой шерстью головой, с узенькими глазами-щелочками, возвышается Расул. Ну, прямо как будто только вчера произошла битва при Калке, после которой русские пленные князья были раздавлены «задами тяжкими татар»!

Всем нам была известна механика энергичного и ловкого создания из порой беспомощных подстрочников переводных книг среднего версификационного уровня, за которые Гамзатов, Мирзо Турсун-заде, Давид Кугультинов, Зульфия, Наби Хазри, Петрусь Бровка и прочие усилиями двух Яковов – Хелемского и Козловского, Юлии Нейман, Наума Гребнева, Давида Самойлова, Александра Межирова, Юнны Мориц, Семена Липкина и прочих деятелей из переводческого клана получали внеочередные издания, собрания сочинений, лауреатские медали, баснословные гонорары, звания академиков и секретарей, квартиры, дачи, автомашины и прочее и прочее. Замахнувшись на этих фанерных, наспех сколочен-

ных классиков, думал я, можно нанести удар по переводческой мафии, можно перераспределить часть изданий и средств на нужды русских писателей, особенно провинциальных. Да по сравнению с «национальными классиками» многих замечательных русских писателей и поэтов 50–80-х годов – Заболоцкого, Мартынова, Смелякова, Сергея Маркова, Дмитрия Балашова власть держала все-таки в черном теле. Я хорошо был подготовлен к этому восстанию. Одно только количество изданий дагестанских, калмыцких, таджикских, узбекских классиков должно было поразить слушателей – по восемьдесят, по девяносто, а то и по сто книг за двадцать – тридцать лет литературной жизни... По 3–4 издания в год! Во много раз больше, нежели у Ахматовой, Заболоцкого, Мартынова...

На трибуну я поднимался, имея в руках текст двух выступлений, но в голове все время крутилась мысль: «Да, восстание против гипертрофированного засилья «националов» дело необходимое, но...

не самое главное.

Скандал будет большой, поскольку эти бонзы открывают дверь ногой в любой из кабинетов ЦК, а толку будет мало. Главные корни нынешней скрыто-русофобской идеологии растут в другой почве и питаются другими соками...»

И когда с трибуны я оглядел зал, еще шумящий, волнующийся, негодующий или тайно радующийся – от возбуждения, которое вызвала расколовшая его пополам дерзкая речь Палиевского, когда я увидел на кромке сцены несколько работающих на историю магнитофонов, когда столкнулся глаза в глаза со взглядами, излучающими страх и ненависть, и просто физически ощутил энергию зала, давящую на меня, – я положил перед собой страницы своей главной речи.

Особенность дискуссии «Классика и мы» была в том, что наша сторона сама пригласила на поединок сильнейших противников из враждебного стана.

Вот передо мной их фамилии из списка, отпечатанного на пригласительном билете: А. Борщаговский, В. Евтушенко, С. Машинский, П. Николаев, А. Эфрос, В. Шкловский. И председательствовал, и вел собрание их человек – Евгений Сидоров. Мы не боялись их, поскольку были уверены, что правда на вашей стороне и что в открытой дискуссии победа, несмотря на возможные издержки, останется за нами.

Соперника же наши в своих акциях поступали совершенно иначе: вспомним хотя бы историю с «Метрополем», в котором участвовали лишь свои и на страницах которого немислимы были ни дискуссии, ни выяснение истины. А мы девствовали простодушно, открыто, по-русски, следуя завету князя Святослава, предупреждавшего своих врагов: «Иду на вы!»

Однако мне пора обратиться к магнитофонной записи ¹.

...Я не раз задумывался о том, что такое связь сегодняшней литературы с классикой, как она обнаруживается и где ее искать. Наверное, я бы не стал выступать на нашей дискуссии, если бы однажды не прочитал объемистую книгу – «Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников». «Советский писатель», 1973.

Многое в этой книге мне показалось интересным, многое – спорным, многие выводы надуманными... Приведу пока, чтобы не быть голословным, несколько цитат из этого издания.

Дальше в своих рассуждениях я также не раз буду опираться на него.

По живому чувству природы стихи Багрицкого равны лучшему, что было в русской поэзии, – Тургеневу, Фету, Бунину (Антокольский).

Был, впрочем, один поэт, которому очень сродни Багрицкий в своем подходе к животному миру... это был безымянный автор «Слова о полку Игореве» (Марк Тарловский).

¹ Далее приводятся отрывки из выступления Ст. Куняева. – Ред.

Недавно я снова прочитал поэму «Человек предместья»... эта поэма, и с нею «Последняя ночь» и «Смерть пионерки», составляющие как бы первую и последнюю ступени поэтической ракеты, которая была запущена в историю советской и мировой литературы... (Марк Колосов).

На время прерву подобные цитаты. Похожих в этой книге очень много.

Я задумался после чтения всего этого вот о чем.

Одной из постоянных нравственных и эстетических традиций в мире русской поэзии было приятие всего, что поддерживает на земле основы жизни. Ежедневная работа по добычанию хлеба насущного, приятие относительно устойчивых форм быта, сложившегося на просторах нашей земли, тучная материальная почва, на которой со временем произрастал громадный густой смешанный лес русской культуры. «Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь...». Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, дровням, мальчику, играющему в снежки, здоровью, праздничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом облегчения спускается он на грешную землю:

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно...

А Сергей Есенин, приезжавший в родную деревню как иностранец – в английском костюме, в лайковых перчатках, в кепи или в цилиндре, вдруг преображался, чтобы выдохнуть из глубины души:

Каждый труд благослови, удача —
Рыбаку, чтоб с рыбой невода,
Пахарю, чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

Словом, вот такой подход к этой теме – один из краеугольных камней поэтической традиции нашей классики. И, заново перечитав Багрицкого, я вдруг увидел, что именно этот взгляд странен и чужд его творчеству.

Самые естественные и необходимые для жизни дела воспринимаются поэтом как нечто требующее поголовного осуждения, гонения, уничтожения...

Эта ненависть приобретает фантастические формы, которые, к сожалению, нельзя списать за счет лирического героя.

Он вздыбился из гушины кровей,
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали.

...В стихотворении «ТВЦ» есть несколько формул, которые имеют прямое отношение к пониманию совести и нравственности, то есть проблемам, которыми всегда жила наша классика:

Оглянешься – а вокруг враги;
Руки протянешь – и нет друзей;
Но если он (век имеется в виду. – Ст. К.)
скажет: «Солги», – солги.
Но если он скажет: «Убей», – убей.

Натуралистическая точность, в которую поэт облакает эти формулы, неотделима от жестокости. И в этом также сказался его полный разлад с русской поэзией. Рассуждения поэта о врагах больше похожи на речи обвинителя, чем на слова поэта.

Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.

Странно, что эти строки написаны, как мне кажется, чуть ли не с каким-то садистским удовольствием. Странно думать, что человек, приводящий приговор в исполнение, может ощущать плодотворную радость расправы, и что более всего странно – поэт вроде бы почти разделяет эту радость...

Это все весьма далеко от пушкинского, что в «мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Можно вроде бы возразить: времена другие и понятия о добре и зле иные. И сдается, что не было места в те годы для пушкинского гуманизма. Так-то оно так, да не совсем. Разве не в те же годы творили Ахматова и Заблочкий, во многом являющиеся для нас символами этической и эстетической связи с классикой? Разве не в то же суровое время Сергей Есенин, словно бы мимоходом, оброняет:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не томил несчастных по темницам...

Но во имя чего же поэт пошел на разрыв с этими великими традициями русской поэзии? Пожалуй, яснее всего об этом сказано в поэме «Февраль», являющейся, так сказать, его завещанием.

Апологеты Багрицкого, говоря об этой поэме, отделяются эпитетами – «гениальная, эпохальная», не раскрывая ее сути. В ней же повествование ведется от имени неуклюжего юноши, романтика, птицелова, ущемленного своим происхождением, тяготами военной службы, неразделенностью юношеского чувства к гимназистке. «Маленький мальчик», «ротный ловчила», на котором неуклюже сидит военная форма, которому неуютно в этом мире, который мечтает «о птицах с нерусскими именами, о людях с неизвестной планеты, мире, в котором играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин». Мир, полный романтического комфорта – вот что нужно ему, чтобы преодолеть свои комплексы.

Время помогает таким, как он, приходит Февральская революция. И сразу же: «кровью мужества наливается тело, ветер мужества обдувает рубашку». Он вступает во все организации, становится помощником комиссара. Появляется в округе вооруженный до зубов, как ангел смерти, окруженный телохранителями. Его превращение из гадкого утенка в карающего орла революции поразительно.

Моя иудейская гордость пела,
Как струна, натянутая до отказа.
Я много дал бы, чтобы мой пращур

В длиннополом халате и лисьей шапке...
Чтоб этот прашур признал потомка
В детине, стоящем подобно башне
Над летящими фарами и штыками.

Поэма кончается тем, что при ликвидации публичного дома лирический герой встречает в числе проституток гимназистку, по которой вздыхал в свои юные годы, и жадно насилует ее.

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков...

Мне думается, что эта фрейдистская, ключевая по сути в поэме, также ключевая для Багрицкого, ситуация никоим образом не соприкасается с пафосом русской классики. Это поистине авангардизм, но уже в нравственной сфере...

Я отдаю себе отчет, что мои мысли достаточно спорны... Сложность посмертной судьбы этого поэта в том, что легенду о нем как классике требуется все время обновлять и подтверждать. Но, как мне кажется, ни в одном из главных планов – гуманистический пафос, проблемы совести, героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души человеческой со звеньями родословных, историей, природой – поэзия этого поэта не есть продолжение классической традиции...

Ощущения, которые я испытал, стоя всего-то полчаса на трибуне, незабываемы. То мертвая тишина, когда сидящие в полутемном зале впадают в шок от моих слов и мыслей, совершенно неожиданных и радостных для одних и недопустимых и кошунственных для других. Но вдруг тишина взрывается рокотом возмущения, а через минуту возгласами отчаянного восторга. В какие-то секунды я просто физически чувствовал, как из темного зала, переполненного лицами, глазами, вздохами, вдруг густой струей прорывается и затекает на трибуну волна ненависти, сменяясь в следующее мгновение теплой волной восхищения. Главное тут каким-то особым инстинктом угадать реакцию зала на твои слова на несколько секунд вперед, подготовиться к ней и внутренне – полной мобилизацией, точным отзывом, и внешне – выражением лица, интонацией голоса, выверенным жестом, правильным междометием или даже ответом на какой-нибудь неожиданный выпад из зала, на который невозможно не ответить.

Всю школу ораторского искусства и поведения на трибуне, всю школу публичного взаимодействия с толпой мне пришлось освоить в экстремальных условиях за какие-нибудь полчаса... Что творилось в полутемном, набитом людьми зале, я, конечно, разглядеть не мог, но, чтобы представить его атмосферу, вспоминаю рассказ сына, как его сокурсница по университету, еврейка, зарыдала после моего жестокого и объективного приговора поэзии Багрицкого.

В перерыве – толпясь в переполненном фойе – одни люди отводили от меня глаза, другие стремились пожать руку, какая-то пожилая седоволосая женщина подошла с березовым туеском в руках и, поклонившись, подарила его мне. Дома, открыв туесок, я обнаружил на дне записку со словами: «От русских художников за отвагу в неравном бою...». Записка эта до сих пор хранится у меня как медаль или орден.

Блестящую вступительную речь произнес Петр Палиевский. Он закончил ее под аплодисменты, пересказав сцену из фантастической сказки Василия Шукшина «До третьих петухов» о том, как черти, выгнав монахов из монастыря, предложили им переписать иконы и на месте святых изобразить новых хозяев монастыря – чертей. «Бей их!» – закричал вдруг один

монах. При этих словах Палиевский демонстративно поглядел на интерпретатора русской классики Эфроса.

Аплодисменты, которые ему достались, наверное, были слышны на улице...

Дискуссия уже не шла, к ужасу Феликса Кузнецова – руководителя московских писателей – она катилась под гору с грохотом, как взрывающийся автомобиль из американского боевика.

Попытавшись остановить катастрофу, он промямлил нечто умиротворяющее: «Мой коллега Станислав Куняев не должен был использовать эту трибуну для того, чтобы обнародовать свою статью... почему необходимо с таким неистовством топтать Багрицкого? Мне это непонятно... если идти таким путем, то мы должны полностью отказаться, скажем, от Мейерхольда. А куда мы денем Маяковского?»

На самом деле хотя ход дискуссии был совершенно неожидан для Кузнецова, наш патристический Талейран сразу понял, что происходит в зале и на сцене. Он только не понимал мотивов. Позже, в минуты откровенности, редкой для него, он признался:

«Меня ведь только-только выбрали первым секретарем, и я подумал, грешным делом, что, взрывая ситуацию, вы с Кодеиновым и Палиевским копаете под меня...»

В перерыве за кулисами взбешенный то ли нашими выступлениями, то ли своей неудачной речью Эфрос с искаженным лицом закричал, обращаясь ко мне:

– Вы же поэт! Ну и пишите стихи, а в политику и в общественную жизнь не лезьте, не ваше это дело!

С неприсущими ему плачущими интонациями после перерыва на трибуну вылез Евгений Евтушенко и запел ту же песню: «Зачем же сейчас стравливать уже мертвых замечательных художников театра и слова?!» А потом он вообще в горячечной запальчивости понес всякую чушь вроде того, что Шукшин любил Пастернака и Багрицкого, что «патриотизм – это последнее прибежище негодяев», ну и, конечно, про антисемитизм. Как же без этого!

Однако мы с Палиевским получили неожиданную поддержку... Серго Ломинадзе – человек, отец которого в 30-е годы застрелился, а в 40-е сам узнавший вкус лагерной баланды, вдруг резко выступил против Евтушенко, Борщаговского, Эфроса: «Тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование». (Выкрики.)

В середине дискуссии масла в огонь подлил Евгений Сидоров, который стал вслух перед всем залом извиняться за антисемитскую записку, полученную Эфросом (в ходе его выступления – Ред.) Он не должен был этого делать и доводить еврейскую часть зала до истерики, поскольку такие записки при такого рода атмосфере могут сочиняться кем угодно, в том числе и профессиональными провокаторами...

Прослушиваю магнитофонную запись нашей дискуссии и печалюсь: как изменило, как поломало время людей, как оно сбilo некоторых из них в стан с теми, кого они никогда не любили и не уважали... В годы перестройки ренегатская логика исторических событий объединила Евтушенко и Игоря Золотусского в один лагерь, а ведь на дискуссии нашей Золотусский нашел в себе смелость заявить: «Я верю в искренность Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита... после того, как он написал: «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним...» Это не просто личное невежество поэта».

Потряс аудиторию своей бесстрашной и пророческой речью Юрий Селезнев, когда отчеканил: «Мы все ждем, когда будет или не будет третья мировая война, ведем борьбу за мир... Но третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое химическое и бактериологическое оружие... И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых мы боремся в откры-

тую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается эта третья мировая идеологическая война... она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим...»

Зал и президиум были совершенно опустошены и измотаны, когда к полуночи на трибуну вышел Вадим Кожин и заявил, что он, «если говорить об антисемитизме, с презрением отвергает истерику, которая здесь по этому поводу совершилась».

Из последних сил от страха и негодования за то, что вроде бы страсти от усталости улеглись, и вдруг опять в доме повешенного заговорили о веревке, Феликс Кузнецов и Евгений Сидоров запричитали, заскулили, заверещали: «Вадим Валерьянович! (Шум.) Во-первых, никто в этом зале истерики по поводу антисемитизма не поднимал! Этого не было!» (Выкрики, аплодисменты.)

В. Кожин: Нет, было! Нет, было! Более того, я склонен думать, что та записка, которая была здесь получена и зачем-то зачитана (шум), написана совершенно в провокационных целях... (Шум, аплодисменты.) Я не верю, я не верю тому, что это написал человек, который хотел выразить свою, так сказать, какую-то антисемитскую позицию...

Дальше последовал то ли шекспировский, то ли гоголевский диалог, являющийся невольным образцом драматургического жанра:

Ф. Кузнецов: Прошу...

В. Кожин: Он именно хотел возбудить страсти.

Ф. Кузнецов: Я прошу вернуться к теме дискуссии.

В. Кожин: Правильно, я о том же.

Ф. Кузнецов. И не нужно опускаться, я бы сказал, до мелких неразрешимых страстей...

В. Кожин: Правильно, но я...

Ф. Кузнецов: Слава богу, мы ушли от этого и перешли к нормальному профессиональному разговору...

В. Кожин: Совершенно верно, Феликс, но не я же...

Ф. Кузнецов: Зачем же возвращаться...

В. Кожин: Не я же эти страсти возбудил...

Ф. Кузнецов: Что значит «не я же...»

В. Кожин: Но я действительно свое...

Ф. Кузнецов: Я прошу перевести разговор в русло литературы. (Шум, выкрики.)

В. Кожин: Все правильно, я про то и говорю.

Ф. Кузнецов: А ты свое...

В. Кожин: А чего «свое»? (Шум, крики.) Ну, знаешь, давно пора все выяснить... Это делает невозможным всякое серьезное обсуждение...

Ф. Кузнецов: Вот именно...

Даже сейчас, спустя двадцать лет после дискуссии, перечитывать ее стенограмму невозможно без волнения. После двенадцати ночи нервы сдали у опытного аппаратчика Евгения Сидорова. Когда Кожин сошел с трибуны, Пупсик (как мы звали Сидорова) сорвался на фальцет:

– Товарищи, я прошу вести себя корректно, мы договорились об этом! Не разжигайте, пожалуйста, страсти!!! Я к вам обращаюсь...

Но страсти уже разжигать было некому. Все валились с ног от усталости. Напоследок я вышел с коротким заключительным словом и сказал, что не принимаю упрёки в том, что Багрицкий помер и ничего не может возразить Куняеву, а потому выступление Куняева неэтично.

– Но ведь Чехов тоже помер, – пошутил я, – и ничего не может возразить Эфросу по поводу постановки им «Вишневого сада» или «Трех сестер»...

После полуночи истерзанная переживаниями людская масса, как венозная кровь, вытекла из обескислороженного, душного зала. Шатаясь от усталости, я зашел в полутемный ресторан, где за столиком сидели Татьяна Глушкова и Александр Проханов.

– Волк! – бросилась ко мне навстречу Татьяна. – Вы живы? Я-то думала, что вы не устоите на трибуне, что вас сдует, такая волна ненависти неслась мимо меня прямо на вас...

Мы, все обессиленные, что-то выпили, о чем-то помолчали, и на прощанье Саша Проханов медленно произнес:

– Прямое восстание бессмысленно, надо идти другим путем.

Мои карманы были набиты записками, которые я получил за пять часов пребывания на сцене. Я высыпал их на стол. Взял первую попавшуюся, прочитал вслух:

Стасик! Обнимаю тебя, дорогой. Очень хорошо – сильно, ярко ты выступил о Багрицком – с каждым словом твоим согласен. Творчество Багрицкого враждебно русской поэзии – и классической и современной.

Анатолий Жигулин.

21 – XII – 77 г..

Ах, Толя, Толя! Через пятнадцать лет он полностью перейдет в ренегатский лагерь, напишет драматическую повесть «Черные камни», в которой оболжет своих «подельников», станет на какое-то время послушной игрушкой в руках кукловодов перестройки, которые используют его небольшое имя ради своих целей, свозят пару раз в Европу, а потом предадут нищете и забвению.

Мы расхворались с дискуссии со смутным ощущением того, что произошло нечто необъяснимое и роковое, после чего жить по-старому будет невозможно. Моя жена, когда мы подъехали к дому по заснеженной улице, вылезая из машины, потеряла с пальца кольцо с изумрудом... Дурное предчувствие охватило меня, но рано утром я вышел на улицу и в затоптанном снегу – о счастье! – нашел желтое колечко с блеснувшим из белого снега зеленым камушком. Неужели мы победили?

Советская пресса отозвалась на дискуссию оглушительным молчанием. ЦК, дабы «не раскачивать лодку», запретил упоминать в печати о том, что произошло 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов.

Однако многие европейские газеты опубликовали пространные отклики на нее.

Из белградской газеты «Политика» от 15.01.1978 года:

Одна часть публики рукоплескала Палиевскому и Куняеву, другая – Эфросу. И нелегко было бы сказать, у кого из них больше сторонников.

Литературный критик Александр Борщаговский (осужденный в 1949 году за «космополитизм») обвинил Палиевского в идеализации 30-х годов, бывших трагическими для нашей литературы. «Вы говорите, что «Тихий Дон» – лучший роман XX века, но кто это доказал? – спросил критик.

Критик Юрий Селезнев энергично восстал против призыва к примирению. «Мы живем в мирное время, но не имеем права забывать годы, когда был учинен погром в русской литературе.

Когда посторонний человек задается вопросом, почему разговор в ЦДЛ называют открытым, если состоялся он «в кругу семьи» и освещен в печати не был, то вместо ответа слышит вопрос: «А вы что, не знаете Россию?» Смысл этой фразы заключается в том, что в России тайное всегда становится явным.

Парижская газета «Монд» опубликовала 9.02.1978 года статью Жака Амальрика под названием «Неосталинистское наступление в Союзе писателей».

Собрание, организованное сторонниками «неосталинистской» фракции в Союзе писателей, прошло под знаком откровенно антисемитских выступлений и прославления «подлинно русского» искусства сталинской эпохи.

Последняя деталь, немало говорящая о смысле, который хотели придать своему собранию организаторы вечера 21 декабря: именно 21 декабря 1879 года в Гори родился некий Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Израильский журнал «22» посвятил в 1980 году нашей дискуссии целый номер.

Из статьи В. Богуславского «В защиту Куняева»:

Главарями Октябрьской революции были авантюристы полуинтеллигенты, недоучившиеся студенты и «экстерны», духовный багаж которых состоял из набора пропагандистских брошюр марксистского толка. Их армией – «солдатами революции» – стало откровенное быдло... Новый класс – это его, правящего быдла, дети, окончившие спецшколы, университеты и аспирантуры...

Задача Куняева – отодвинуть случайного Багрицкого со столбовой дороги, «заменяв» вполне законным национальным конкурентом Сергеем Есениным», «В России действительно выросла своя собственная, русско-советская интеллигенция, и новая аристократия не ощущает более нужды в жидовском (пардон – «сионистском») обслуживающем персонале. Катитесь! Игра окончена!..

Комментарий М. Хейфица из «22» назывался так: «Эдуард Багрицкий – растлитель России. Дух погрома в статье Ст. Кунаева». Хейфиц, надо отдать ему должное, откровенно и смело признался, что у евреев есть, как и у других народов, полное право иметь «своих негодяев». Автор даже, как это мне помнится, расширил круг негодяев, включив туда целую плеяду политиков, уничтоженных Сталиным, – от Троцкого до Ягоды... С такой откровенностью трудно было спорить, но я был удовлетворен, что вызвал своих соперников на открытый разговор ².

Не заставили себя ждать отклики по многочисленным «радиоголосам», появились и публикации искаженных стенограмм в «самиздатских» журналах, сопровождаемые статьями, не на шутку разгоряченные авторы которых обвиняли одних ораторов в «возрождении сталинизма», в «призыве к погромам», а других – в трусости и неумении дать достойный отпор «зарвавшимся черносотенцам» и сетовали, что власть недостаточно тверда, чтобы окоротить последних.

Помнится еще статья Наума Коржавина, в которой он приносил осторожное покаяние за преступления еврейских революционеров перед Россией, за что получил отповедь от Раисы Лерт в книге «На том стою», изданной лишь в 1991 году.

Покаянный пафос Коржавина или Хейфица мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи – однако как еврейка я так же не могу взять на себя ответственность за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром и за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди.

А куда было деваться Хейфицу и Коржавину, знавшим, к примеру, о документе, опубликованном в свое время в позе запрещенной и изъятой из всех библиотек книге о строительстве Беломорско-Балтийского канала?

Центральный исполнительный комитет Союза ССР, рассмотрев представление Совета народных комиссаров Союза ССР о награждении орденами Союза ССР наиболее отличившихся работников, инженеров и руководителей Беломорстроя, постановляет:

Наградить орденом Ленина:

1. ЯГОДУ Генриха Григорьевича – зам. председателя ОГПУ Союза ССР.
2. КОГАНА Лазаря Иосифовича – начальника Беломорстроя.
3. БЕРМАНА Матвея Давидовича – начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

² Цитаты из зарубежной прессы любезно предоставлены мне С. Н. Семановым из его архива.

4. ФИРИНА Семена Григорьевича – начальника Беломорско-Балтийского исправительно-трудового лагеря и зам. начальника Главного управления исправительно-трудовыми лагерями ОГПУ.

6. ЖУКА Сергея Яковлевича – зам. главного инженера Беломорстроя, одного из лучших и добросовестных инженеров, своим исключительным знанием дела и огромной трудоспособностью обеспечившего качественное выполнение проектных работ.

7. ФРЕНКЕЛЯ Нафталия Ароновича – пом. начальника Беломорстроя и начальника работ (совершившего в свое время преступление против государства и амнистированного ЦИК Союза ССР в 1932 году со снятием судимости), с момента начала работ на Беломорстрое и до конца обеспечившего правильную организацию производства работ, высокое качество сооружений и проявившего большое знание дела.

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича – зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58–7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М. Калинин

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР Л. Енукидзе

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин. Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества?

Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидят пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?»

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации – кощунственно, но бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

Если бы Палиевский, Куняев, Кожин и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так: «Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году – и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру «инородцы».

Куняев наиболее откровенно отбросил «литературные тонкости», которыми драпировались другие, – и в его выступлении наиболее «грубо, зримо» проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности – в противовес не осуществившемуся интернационализму 20-х годов.

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха – так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

«Но «инстанции» и «почвенники» очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, – лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души «инстанции», как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду «зрелого социализма» и «развитой советской демократии». И они по-своему правы». «Дискуссия в ЦДЛ была своего рода «разведка боем», пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии».

«Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается... вот в таких образованных, интеллигентных способных выработать новую национальную идеологию».

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, «образованные, способные, интеллигентные» русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех «в одну ночь» взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность...

Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в 1960–1970-х годах она числила себя по отчеству «Петровной», как и Межиров, в годы перестройки ставший «Пинхусовичем») в газете «Русское слово» (17 июля 1990 г.) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так:

Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия «Классика и мы»... На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого.

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовный слышался даже в его смягченном пересказе.

– С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, – заявил он мне. – Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

– Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, Сидоров, он же Пупсик, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, «что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко», утверждал, что «лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий», требовал «не забывать о классовых критериях нашей культуры» (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря – день рождения Сталина...

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,
Слиняли Палиевский и Куняев.
Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!
Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И «Феликс» был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим «интернационалистам» можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией «Классика и мы» сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с «победителями» не хватает «чаадаевской» прививки, «капли гамлетизма», что «победители», по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

...Чего-чего, а «презирать своих» (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались «чаадаевщиной», столь милой Вам, и докатились до полного самоуничтожения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели – горим... Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О «победителях». На мой взгляд, «победители» делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа... Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им – одинаково обогащали побежденных. К таким победителям я отношусь, «как аттический солдат, в своего врага влюбленный»... А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал «Скифы», а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. «Победителям» – страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого «победители» боятся, как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился... Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмешительстве может идти речь... Все это стало достоинством гласности – не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скры-

тым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но, слава богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет, Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста...

На каплю «гамлетизма» согласиться можно было бы, но беда в том, что русский человек на капле не остановится.

Я очень хорошо понимаю истоки и масштабы их ярости. Им было даже приятно, когда с ними воевал какой-нибудь Иван Шевцов или другой непроходимый вепс. На этом фоне они выглядели благородными, талантливыми, гонимыми, и, ей-богу, в глубине души были благодарны своим глупым гонителям. Сейчас же каждый более менее не дурак из них отдает себе отчет, что Вы умны и талантливы. Над Вами не посмеетесь. На меня они злы, потому что я нарушил правила игры, заключающиеся в том, что человек, занимающий пост и обладающий властью, по традиции обязан поддерживать дух умеренной либеральности, чем я заниматься не стал.

Их ненависть замешена на страхе и на слабости. Но она вездесуща. Выход есть, наверное, один. Относиться ко всему спокойно. С искренним добродушием, без ожесточения. Улыбаться. Словом, делать вид, – впрочем, это должно соответствовать внутреннему состоянию, – что ты выше злобы дня. Во имя справедливости. Ради Бога, нельзя впадать в отчаяние, в истерику. Нельзя показывать, что твои нервы на пределе. Да их и в действительности нужно от этого предела оградить.

Я понимаю, что женщине следовать этим советам куда труднее, чем мужчине. «Нам только в битвах выпадает жребий»... Потому я не буду осуждать Вас ни в коем случае, как бы ни развивались последующие события. Не давайте только им повод торжествовать. Всем этим «порядочным людям». И «приличным» тоже. Когда Ластик (он же Лангуста) сказал мне ту же самую фразу, что и Вам: «Все приличные люди отвернутся от Вас», я ответил ему: «Дорогой А. П. ³ Ну что Вы! Я же знаю, что Вы от меня никогда не отвернетесь». Он не понял юмора и даже сделал вид, что растрогался, забормотал, что знает наизусть десятки моих стихов, но кончил тем, что к Льву Толстому в Ясную Поляну приезжал один из последователей Ламброзо с одной целью: изучить необыкновенно уродливое строение черепа графа, как представителя вырождающегося рода, отягощенного всяческими душевными заболеваниями. О Господи! Вызов брошен. Мятеж ⁴ состоялся. Со славой он закончится или без славы – нам знать не дано. Но одно я знаю точно: «все миновалось, молодость прошла». На нашу долю остался лишь голубой дымок поэзии да темная мгла идей, и если не бросить вызов (а долго ли жить-то осталось!), то последние годы придется коротать бок о бок со старыми калошами, енотами ⁵, лангустами, ластиками, слушая их душевно-бытовую болтовню и грустно поддакивая им. Да при одной мысли об этом хочется пойти на кухню, законопатить окна и отвернуть все газовые конфорки.

Записи из дневника после дискуссии «Классика и мы»

25 декабря 1977 г. На экстренном и чрезвычайном секретариате после дискуссии Феликс втолковывал мне что-то о «ролевом сознании». Вадим уверяет меня, что мы победили. Евреи, сидящие в зале, по свидетельству близких мне очевидцев, говорили о погромных настроениях. Дураки. Они не понимают, что, выговорившись, русский человек от сознания исполненного долга успокаивается и добреет. Он воюет с идеями, а не с людьми, и воюет

³ А. П. Межиров.

⁴ Речь шла о моем письме в ЦК КПСС.

⁵ «Еноты» и «вепсы» – шуточные наши прозвища евреев и русских.

для понимания, а не для победы любой ценой. Победивший русский никогда не пляшет на костях побежденных, а, наоборот, начинает жалеть их.

Звонил наш куратор из «Детского мира»⁶ стал расспрашивать, как прошел секретариат по итогам дискуссии. Я начал было излагать, но потом, чтобы не запутаться, сказал: «Я лучше прочитаю свою речь на секретариате. Он буркнул: «Подождите», – и на минуту в трубке воцарилось молчание. Потом он снова подошел к телефону.

– Что, запись наладили? – спросил я.

– Да! – грустным голосом ответил он.

– Но ведь есть же стенограмма!

– Стенограмма есть, да времени нет. А мне завтра в 9.00 надо докладывать.

И я начал ему читать.

26.12.1977 г. Пришла Мар. Ч.: «По Москве распространяются слухи, что Куняев еврей, и поскольку дело в широком смысле идет к погромам, то он заранее решил обезопасить себя».

27.12.1977 г. С вечера взялся за Гейне и понял, что начало современных диссидентских форм жизни и сознания идет от него. Он первый, опьяненный воздухом посленаполеоновской свободы, явил миру требования сформировавшегося европейского еврейства, с его портативной родиной – «библией», как пишет он сам.

Все другие народы создавали родину мечом, плугом, трудом. Евреи – только религиозным чувством и словом. С такой «портативной родиной» можно жить где угодно. Гейне первый, кто это сформулировал и выдал миру, как откровение, подтвердив его своей судьбой. И, конечно же, правы немцы, которые, независимо от их политических убеждений, не считают Гейне немецким поэтом.

11.01.1978 г. Написал я письмо в партком с просьбой пригласить на партком меня на Генриха Гофмана, Борщаговского и Марка Галлая, которые на всяких собраниях клеветают на меня, приписывают мне призывы к погромам и т. д. На другой день звонок от Феликса Кузнецова.

– Стасик! Забери письмо из парткома. Я говорил полтора часа с Марковым. Везде одно мнение – никаких разговоров на эту тему, национальный вопрос – неприкасаемый.

– Но, Феликс, на меня же клеветают!

– А ты что думал?! Это – расплата. Вы позволили себе неслыханную роскошь – дискуссию такого рода. А за роскошь надо платить.

1 декабря 1980 г. Наконец-то я свободен, и даже увенчан ореолом гонимого властью литератора. Ездили осенью прошлого года с Феликсом на поле Куликово. В машине я сказал ему, что рабочим секретарем оставаться не хочу, чтобы не осложнять ему жизнь, но в секретариате меня следует оставить. Он пообещал. Однако, когда перед конференцией начались всякие партгруппы и кадровая возня, когда горком и ЦК стала осаждать орда функционеров (Сахнин, Галлай, Мориц, Евгений Сидоров, Елизар Мальцев) с требованием снять меня со всех постов, угрожая скандалами, то и Феликс и горкомовцы дрогнули. Заведующий отделом горкома КПСС Глинский вел партгруппу и трижды устраивал переголосование, дабы провалить предложение Михаила Алексева о том, чтобы я остался в секретариате.

После всего я подошел к Глинскому и сказал:

– Поздравляю... Партия уступила мафии...

Но когда все кончилось, мы с Галей уехали на Мезень, на Сояну, жили в избушке возле заброшенного рыбзавода, я ловил хариусов, а по вечерам на Воздвиженской неделе мы сидели на лавочку под березами и слушали, как лоси, занятые гоним, фырчали в соседнем овраге и как на черной ели возле ручья ухает филин.

⁶ Так мы называли КГБ.

Русско-еврейское Бородино

Для тех, кто забыл, что такое «Метрополь», напомним, что это был альманах двадцати трех московских писателей, изданный ими за границей в 1979 году.

Организатором и вдохновителем альманаха стал В. Аксенов, сжигавший корабли и готовивший свой отъезд на Запад. Акция была продуманная и очень эффектная. Издание уже составленного альманаха его создатели подзадержали, чтобы не помешать получить Вознесенскому осенью 1978 года Государственную премию. Когда дело с премией прошло благополучно – козырная карта «Метрополя» была брошена на стол. События развивались прямо-таки по детективному сюжету: по Москве распространялись слухи о пресс-конференциях редколлегии альманаха, места конференции переносились то на переделкинские дачи, то в целях широкопропагандистских в различные городские кафе, власти сбивались с ног, не успевая закрывать намеченные для подобных акций кафе на срочные «ремонтные». Иностранные журналисты, аккредитованные в Москве, с поразительной осведомленностью появлялись у закрытых дверей «Лиры» или «Аэлиты» с табличкой «Санитарный день» и тут же отстукивали в свои газеты информацию о гонениях на метропольцев. Отдел культуры ЦК и руководство Союза писателей сбивались с ног, не зная, что делать: уговаривали, грозили, сулили дополнительные блага – хватались то за кнут, то за пряник... А слухи, разговоры, репортажи в мировой прессе нарастали, как снежный ком, создавая невиданный ореол гонимому В. Аксенову, уже принявшему окончательное решение...

Листаю газеты тех жарких лет, дискуссии и стенограммы обсуждений: там, в числе гонителей «Метрополя», никаких одиозных фамилий, «певцов застоя», «реакционеров», редакторов «антиперестроечных» журналов... Ни С. Викулов, ни М. Алексеев, ни В. Белов, ни В. Астафьев, ни П. Проскурин, ни Н. Грибачев, ни В. Кожин, ни Ю. Бондарев, ни М. Лобанов, ни Ан. Иванов, ни В. Чивилихин, ни Ю. Селезнев, ни В. Распутин ни слова не сказали в печати о «Метрополе»... В печати. В частных разговорах, да, помню, говорили приблизительно следующее, сходясь на одной мысли:

этих метропольцев чиновники из ЦК КПСС и из руководства Союза опекали весьма усердно, многие из них из загранки не вылезали, никаких отказов им не было. Америка? – Америка! Япония? – Япония! Зал в Лужниках? – Получите! Телевидение? – Ради бога! «Избранное»? – Пожалуйста! Ну и пусть сами наши идеологи, создавшие такую элиту, несут ответственность за неприятности, которые причинила им элита со своим «Метрополем». А мы за это не отвечаем и просто брезгуем заниматься грязным делом...

Так говорили писатели между собой и так игнорировали призывы чиновников из ЦК КПСС – Зимянина, Шауро, Беляева, Долгова и других – «пожурить» избалованных литературных инфантов... Дело все-таки было серьезным. И чтобы его «закрыть», надо было провести хоть какое-то формальное осуждение, хотя бы для спасения чести идеологии, ее брежневско-сусловского застойного лица, вдруг исказившегося от пчелиного укула метропольского жала... Как ни крутились, а обсуждение альманаха пришлось устроить. Поговорили, видимо, с другими людьми, чего-то пообещали им, организовали ораторов. Кто же стали этими ораторами? Только не удивляйся, дорогой читатель: метропольцев, то есть будущих «прорабов перестройки», осудили другие будущие прорабы той же перестройки. И те и другие сейчас стоят в одном ряду и, забыв старые разногласия, печатаются в одних органах, нахваливают друг друга, и фотографии их в обнимку часто украшают страницы наших популярных изданий.

Но в 1979 году нынешние друзья «Метрополя» отзывались об альманахе так, как должно отзываться людям, живущим по принципу «чего изволите?». Я не сужу их: они такими родились – сегодня обслуживают одну идеологическую ситуацию, завтра – другую,

послезавтра обслужат третью. Но назовем фамилии «гонителей и преследователей». Что говорил о «диссидентах» десять лет тому назад будущий главный редактор журнала «Знамя» и распорядитель фонда Сороса, нынешний патриарх либерально-еврейской интеллигенции Г. Бакланов?

Не могу себе представить американского читателя, который бы по доброй воле прочел весь этот альманах. Я этого сделать не смог, так как художественный уровень большинства произведений оставляет желать лучшего. Я уж не говорю о рассказах, например, Ерофеева, которые вообще не имеют никакого отношения к литературе.

А вот отзыв будущей перестройщицы Р. Казаковой:

Налицо невероятная безнравственность поведения. Это мусор, а не литература, что-то близкое к графомании. Здесь сексопатология Это литература частного лавочника. Этого мы не должны допустить. Для этого надо ехать в Америку.

А вот что писал пропагандист творчества А. Вознесенского, Ф. Искандера, А. Битова, В. Ахмадулиной и других метропольцев будущий министр культуры ельцинского правительства критик Евгений Сидоров:

Он («Метрополь». – Ст. К.) заслуживает самого решительного морального, идейного осуждения, ибо писатели, в нем представленные, сыграли по шулерским, а не по джентльменским правилам. Автор книг и статей о Н. И. Бухарине, о Н. И. Вавилове, известный прозаик перестроечной волны, ныне покойный и забытый В. Амлинский:

Мутное щегольство словами» есть в этом альманахе, который в целом ряде сочинений составляет впечатление тягостное.

Член-корреспондент АН СССР П. Николаев, тот, который в своих литературоведческих интервью последнего десятилетия защищал любую свободу творчества и клял эпоху застоя с ее давлением на художников слова:

Авторы сборника сделали нечто такое, что является задворками западноевропейской культуры...

Конкретное содержание и форма материала сборника – вне вековых традиций нашей культуры и, по существу, враждебны ей... За серьезных, вернее, одаренных писателей, принявших участие в этом сборнике, стыдно. Сама же идея подобного издания не может не быть нравственно и профессионально осуждена.

Один из самых боевых и прогрессивных критиков и ораторов последнего двадцатипятилетия, пострадавший во время гонений на «космополитов» А. Борщаговский:

У нашей литературы всегда был нравственный порог, которого достигала жизнь и за нею литература, нравственный порог, о котором забывать нельзя, ибо, если его утратить, это будет служить развращению подрастающего поколения и вносить в умы молодежи сумятицу. Грех «Метрополя» – в измене нравственному уровню, достигнутому советской литературой.

Популярный детский писатель, громко ратовавший против всякого рода остатков сталинизма и диктата над волей писателя, ныне живущий в Израиле А. Алексин:

Дело с альманахом достойно презрения, потому что замешено на лжи и подлежит всеобщему осуждению...

Были в числе судей «Метрополя» и Б. Полевой, и С. Залыгин, и В. Карпов. Руководил кампанией первый секретарь Московской писательской организации Ф. Кузнецов. По должности и по приказу свыше, так сказать. Остальные «гонители» были «вольнонаемные». Все они страстно, убежденно, со знанием дела – что самое пикантное, на мой взгляд! – по существу справедливо критиковали альманах. Одного только не рассчитали, что изменится время, «Метрополь» снова будет «прославлен» на гребне перестройки, а они, находящиеся на том же гребне, будут вынуждены сделать вид, что не имеют никакого отношения к судьбе альманаха, или, подмигнув метропольцам, должны будут намекнуть: «Оцените,

какую неблагодарную, черную, но нужную работу мы сделали тогда, прорабатывая вас, мы фактически спасли вас от оргвыводов идеологии, сыграли роль громоотводов. А эти гордецы консерваторы – всякие Алексеевы, Ивановы, Викуловы, Кожиновы, Беловы, Чивилихины, – истинные-то ваши враги, не помогли вам в трудную минуту, не спустили щекотливое дело на тормозах, не вняли просьбам Большой Идеологии, в позу встали консервативно патриотическую и до сих пор стоят в ней, за что и осуждала и осуждает их Большая Идеология и в метропольские времена, и в наши тоже... Ишь, чистенькими быть захотели в грязное время! Уже тогда они показали свою негибкость, свою якобы принципиальность, словом, свою неспособность к перестройке... А мы-то хоть и клевали вас, да все равно, как родных, любя клевали! Так что не обижайтесь! Кто старое вспомнит...»

Аз же, грешный, в те годы, видя растерянность наших чиновников, вынужденных одной рукой наказывать метропольцев, а другой спасать их, решил воспользоваться ситуацией и написал свое размышление о «Метрополе», о сочинениях, помещенных в нем, о завуалированных и явных русофобских и сионистских мотивах альманаха, о двуличии и двоедушии цеховских чиновников – и пустил свое сочинение по белому свету.

Мысль моя в то время работала так: «Пользуясь или слабостью власти, или тайной ее благосклонностью, эти ребята крупно подставились. Еврейское лобби в ЦК растеряно, нельзя давать ему передышки. Надо или надолго лишить его инициативы, или...» О другом «или» думать не хотелось. Я верил: мои действия подвигнут русскую интеллигенцию на решительные шаги. После выступления в конце 1977 года на дискуссии «Классика и мы», когда меня все-таки не смяли, мне было уже легче рисковать собой.

Я сел за стол, вооружился своими давними рабочими заготовками и за один день написал 12 страниц, которые озаглавил очень просто: «Письмо в ЦК КПСС по поводу альманаха «Метрополь». Я процитирую несколько основных положений письма, но скажу предварительно лишь о том, что, сочиняя его, я не мог обойтись без некоторых штампов и разрешенных идеологией той эпохи формулировок. Слишком велик был риск: ведь если бы меня за это письмо тогда смяла партийная машина, я не смог бы в отличие от, допустим, Аксенова, Войновича, Гладилина уйти из-под ее давления на Запад, хотя бы потому, что бросал в письме вызов антирусской прозападной части партийной верхушки. На Западе мне житья не было бы.

Выступая против еврейского засилья в культуре и идеологии, я не мог говорить прямо: «еврейская воля к власти», «еврейское засилье», «агенты влияния», а потому мне приходилось использовать обкатанные штампы, в которых основным термином было слово «сионизм». Но умные люди, конечно же, понимали, что смысл моего письма гораздо глубже и гораздо опаснее, нежели заключавшийся в этом, к тому времени уже истрепанном клише. И к тому же, дабы партийные церберы (а я знал, что попаду на проработки к ним) меня не сожрали, я не мог не упомянуть в письме знаковое имя «Ленин». «Пусть видит око, да зуб неймет» – так приблизительно думал я, сочиняя письмо. Кстати, всем нам, русским государственным, за годы перестройки за наши действия и слова 60–80-х годов все косточки перемыли. А моего письма всерьез никто не коснулся. Лишь Аксенов один глухо, сквозь зубы упомянул о нем в «Огоньке» конца восьмидесятых, как о «политическом доносе», и молчок. Хотя борьба со мной, как с главным редактором «Нашего современника», велась на полное уничтожение. Ничем не брезговали. Подробно клеветали в прессе и по телевизору, что я чемоданы барахла из Америки привез, что был пойман рыбнадзором за «ловлю семги сетями на северной реке», что на какой-то тусовке хватал за груди Галину Волчек, что по происхождению я «татарский еврей» и т. д. Словом, все было мобилизовано. А о письме в ЦК, казалось бы, о главной улике – молчок. Значит, понимали, что этого касаться им невыгодно. Конечно же (к чему лукавить!), мне не было дела до того, что печатают в «Метрополе» Белла Ахмадулина или Инна Лисянская, Арканов или Розовский, а тем более Попов

с Ерофеевым. Но я решил, воспользовавшись их авантюрным ходом, нарушившим правила игры и, возможно, задуманным ими как реванш за дискуссию «Классика и мы», ударить по высшим идеологическим чиновникам ЦК, которых вольно или невольно подставили их любимчики. Я рисковал, но надеялся: а вдруг мне на этот раз все-таки удастся раздвинуть границы нашей «культурной резервации», жизнью которой руководили Зимянин и Шауро, Беляев и Севрук, во имя наших русских национальных интересов? Конечно же, мое письмо было крупным актом борьбы за позиции в русско-еврейской борьбе. Сделав хотя бы часть этой борьбы гласной, я рассчитывал ошеломить недостижимых чиновников из ЦК, помочь нашему общему русскому делу в борьбе за влияние на их мозги, на их решения, на их политику. Я прекрасно сознавал, что в моем письме наряду с неопровержимыми фактами и исторической правдой были элементы рискованной политической игры, но я знал, с кем имею дело, и знал, что разговор именно на этом языке для людей такого рода, как Михаил Зимянин или Альберт Беляев, будет понятнее, чем на любом другом. Я хотел достичь некоторый успех, которого год тому назад мы достигли на дискуссии «Классика и мы». А главное, я решил воспользоваться приемом наших врагов: сделать это письмо достоянием Самиздата, пустить его по рукам. А иначе они бы объявили его «доносом», «кагэбешной акцией» и т. д. Никаких забот о личной карьере в голове у меня не было. Зачем она мне? Я любил свободу и жизнь поэта и вольного художника.

Вот несколько основных положений этого письма.

В альманахе «Метрополь», кроме открытых антисоветчиков, диссидентов и полудиссидентов, выступили весьма известные советские писатели – Аксенов, Искандер, Битов, Вознесенский, Ахмадулина, Липкин, Лисянская, Арканов, Розовский... Зададимся вопросом: а чем же вызвано их участие в альманахе, их, чьи книги издаются и переиздаются, чьи имена не обделены вниманием критики, кому предоставляются для выступлений самые громадные залы. Кто чаще других говорит, якобы от имени советской литературы, в зарубежных аудиториях.

Семен Липкин опубликовал в «Метрополе» стихотворение «В пустыне», об очередном еврейском исходе.

Идем туда, где мы когда-то были, чтоб наши праотческие были преображали правнуки в мечты.

Нам кажется, что мы на месте бродим, однако земли новые находим, не думая достичь мечты.

Не думаю, чтобы удел «исхода» и смены родины соответствовал сущности советского патриотизма.

Однако удивляться нечему, все логично, потому что Липкин еще десять лет, назад опубликовал в советской прессе стихотворение «Союз И». Я хорошо помню его главный рефрен: «Человечество быть не сумеет без народа по имени «и»... Приведу выдержку из инструкции Министерства просвещения Израиля: «Педагогический секретариат. Отдел основного общественного воспитания:

«Евреи в Советском Союзе и мы» (материал для общественного часа).

Вопрос: Что олицетворяет чувство принадлежности к еврейству? Ответ – Сборы у синагог... слушание передач «Голос Сиона» в диаспоре. Призыв к протестам, письмам... Урок заканчивается декламацией «Союза И» С. Липкина на иврите...»

Когда в конце прошлого года я выступал на вечере поэзии в Государственном музее Маяковского, мне пришлось в форме записок от учителей средних школ несколько вопросов, среди них были и такие: «В свою прошлую поездку по Соединенным Штатам поэт А. Вознесенский с успехом выступал в организациях американской сионистской молодежи, за что даже получил звание почетного гражданина Лос-Анджелеса. Считаете ли вы этически возможным для советского поэта выступления в подобных аудиториях?» Андрей Воз-

несенский не раз декларировал суть искусства, независимую от отечества. В стихотворении «Васильки Шагала» он прямо пишет: «Родины разны, но небо едино. Небом единым жив человек». В этом же стихотворении, обращаясь к Шагалу, Вознесенский, весьма двусмысленно играя словами, призывает художника: «Ах, Марк Захарович, нарисуйте непобедимо синий завет...» И словно бы услышав этот призыв, Шагал нарисовал «непобедимо синий завет» – расписал кнессет – парламент в Тель-Авиве.

Одним из авторов альманаха «Метрополь» является стихотворец Генрих Сапгир. Стихи его в начале шестидесятых годов широко были представлены в разного рода диссидентских «синтаксисах», потом – и до сих пор – он регулярно печатался и печатается на Западе в откровенно антисоветских изданиях. А у нас этот литератор благополучно издает книги для детей в издательстве «Детская литература» и является одним из составителей «Букваря», изданного миллионными тиражами, «Букваря», уникального в том смысле, что в нем есть немало стихов Сапгира и впервые в истории нашего школьного дела нет стихов Александра Пушкина. А ведь до войны были! Как же можно такому человеку доверять дело, с которого начинается познание родины и родной русской литературы!

Надо сказать, что за последнее время вообще немало исторических, литературоведческих и филологических изысканий выходит в свет с идеями, родными и близкими сионизму в самом широком смысле слова. Печально известны в этом смысле исторические «исследования» поэта Олжаса Сулейменова, с его постоянным определением еврейского народа, как «главного народа»...

Это ли не льет воду на мельницу тех, кто говорит о мессианской роли Израиля в судьбах человечества! Надо сказать, что Сулейменов последователен в пропаганде аналогичных взглядов. В одной книге его стихотворений есть поэма «От января до апреля», вроде бы о Ленине, хотя большая часть ее посвящена страданиям еврейского народа, несмотря на то, что в последние десятилетия после того, как сионизм показал свои зубы, разговор об этих страданиях становится бестактным по отношению к народу Палестины, Повествование ведется Сулейменовым на таком примитивном «литературно-историческом» уровне:

Евреи злые, евреи знали, что не евреи Христа распяли! Скрывали хитрые, все принимали, все понимая, миру давали взамен Христа других богов, а им за тех богов – Голгофу!

Не буду говорить об этой поэме подробно – в ней много политически наивного и поэтически беспомощного, процитирую только отрывок, в котором речь идет о Ленине. Вот каким изображает Ленина Сулейменов:

...Он знал, он видел, оставляя нас, что мир курчавится, картавит и смуглеет (?)

(Это что – мир становится семитским, что ли? – Ст. К.)

...Разрез косой ему прибавил зренья, он видел человечество евреев...

Изобразить Ленина в образе вождя, поддерживающего сионистские идеи о «человечестве евреев» – это уж слишком! Нет, не таков был он, страстный борец против Бунда и всякого национализма, в том числе и еврейского, сторонник естественной исторической ассимиляции евреев в тех народах, где они живут.

В 1977 году в большой серии «Библиотеки поэта» – популярном издании вышла книга стихотворений Эренбурга. Эренбург – поэт сложный. Много раз менявший свои убеждения и написавший за свою долгую жизнь много всего разного. Не все из того, что он написал, конечно, заслуживает переиздания. Особенно стихи, продиктованные поэту его сионистскими иллюзиями и убеждениями. Так зачем же в таком случае составителю Б. Сарнову надо было включать в книгу, а издательству издавать следующее стихотворение Эренбурга, написанное в 1922 г.?

Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,

Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.
Запомни только, сын Давидов,
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.
Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука...

Стихи, полные сионистской фразеологии, сознания избранничества, гордыни и религиозного национализма, настолько близкого шовинизму, что их вполне можно, допустим, рекомендовать для чтения в частях нынешней израильской армии, «сыновей Давида», которые «учатся неистовству»! А давайте заглянем в сборник «Эдуард Багрицкий, Воспоминания современников», изданный «Советским писателем» в 1973 г. и щедро нафаршированный всякого рода размышлениями об «избранничестве». «Мы чувствовали себя сильными, ловкими, красивыми. Был ли это так называемый мелкобуржуазный индивидуализм, актерская жизнь воображения, «интеллектуальное пиршество» фармацевтов и маклеров? Нет, не был. Наши мечты сбылись. Мы действительно стали «управителями», «победителями», владельцами шестой части земли... Эдуард Багрицкий принадлежал к поколению и классу победителей» (А. Адалис). Странно, что классом победителей здесь названы не рабочие и крестьяне – а фармацевты и маклеры!

...Да что говорить о нашей прессе, о наших издательствах, о наших статьях и стихах! Достоевского полного собрания сочинений издать не можем – дошли до семнадцатого тома несколько лет тому назад и остановились в недоумении перед «Дневником писателя», в котором гениальный Достоевский уже фактически сто лет тому назад разглядел цели и суть тогда еще нарождающегося сионизма и писал, глубоко проникая в тайну его могущества: «А безжалостность к низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатого бедным, – о, конечно, все это было и прежде и всегда, но не возводилось же на степень высшей правды и науки, но осуждалось же христианством, а теперь, напротив, возводится в добродетель. Стало быть, не даром же все-таки царят там повсеместно евреи на биржах, не даром они движут капиталами, не даром же они властители кредита и не даром, повторю это, они же и властители всей международной политики...»

А о собрании сочинений Блока я уж и не говорю! Все предыдущие собрания выходили с купюрами, там где Блок касался проблем еврейства и русофобства – купюр этих около полусотни.

А что же появляется у нас в необрезанном виде? Размышления Гейне, работающие на идею мессианства, на прославление «избранного» народа, на националистическое высокомерие: «Мне думается, если бы евреев не стало, и если бы кто-нибудь узнал, что где-то находится экземпляр представителей этого народа, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы увидеть его и пожать ему руку...». Или: «...В конце концов Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славой и величием»...

Что это такое – как не националистически религиозные заблуждения, издавая которые громадным тиражом без комментариев, мы фактически работаем на сионизм, проповедуемый устами Гейне – крупного поэта вообще, но в данном случае маленького обывателя, находящегося в шорах иудаизма. Издание классиков – тоже политика. Но почему в результате этой политики почти расистские откровения Гейне мы популяризируем, а пронизательные размышления Достоевского по этому поводу (мирового классика крупнее, чем Гейне),

которые работали бы в борьбе с сионизмом на нас, а не против нас, мы держим под спудом... Почему?

О многом еще можно было бы написать: о русофобстве, как о форме сионизма – примеров более чем достаточно, о том, что... в капиталистические страны чаще всего наш Союз писателей посылает людей, кокетничающих с диссидентством, что и подтвердилось фактом появления «Метрополя», о том, что эти люди заботятся не столько о пропаганде советской литературы – сколько о собственной рекламе, о собственных изданиях, о собственной популярности, а за все это приходится платить уступками в самом главном – в сознании своего патриотического долга перед родиной. Надо сказать (о чем никто не знает), что это было уже второе мое письмо. Первое, более краткое и более мягкое, я сначала послал на имя Суслова. Но, прождав месяца два ответа и ничего не дождавшись, понял: цековские лицемеры ничего не ответят мне, сделают вид, что ничего не получали, подумают, что я сдался и больше не буду «поднимать волну»... Ах так?! Нет, не на того напали! И я написал второй, окончательный, расширенный вариант и продумал, как сделать, чтобы письмо не кануло в небытие в глухих цековских архивах. Сусловское ведомство не хочет отвечать мне – напишу на конверте просто «в ЦК КПСС», а что делать дальше – придумаю...

...Как сейчас помню: подъехал я к экспедиции ЦК КПСС в переулок возле Старой площади, постоял немножко, собираясь с духом, понимая, что как только девушка в приемном окошке возьмет у меня конверт, то корабли будут сожжены, Непрядва перейдена, и для меня начнется неведомая жизнь с неведомыми последствиями... Но вспомнил еще раз погибшего недавно моего друга Эрнста Портнягина, еще раз подумал: «а вдруг и со мной какой-нибудь несчастный случай!» – и... протянул письмо в окошко.

В этот же день мы вместе с Вячеславом Шугаевым уехали на электричке в Загорск, чтобы поискать в окрестных деревнях крестьянские дома, которые мы хотели каким-нибудь образом купить, чтобы жить рядом и обладать хоть какой-то долей независимости от опостылевшей нам обоим московской жизни. По дороге я читал ему второй экземпляр письма, мы выходили в заиндевевший тамбур, курили, мечтали, спорили. думали о последствиях моего шага, который он одобрял, но боялся, как бы со мной не расправились по-настоящему (Шугаев обмолвился, кстати, что он тоже пишет размышления на те же темы и называться они будут «Глазами голя»). Впрочем, за несколько дней до окончательного своего решения я уже предпринял кое-какие меры безопасности. Во-первых, я посетил нескольких директоров издательств, на книги которых ссылается в письме. Каждому из них я вручил по экземпляру письма. «Пусть знают – все буду делать гласно и открыто, это единственный путь, чтобы не попасть на Лубянку» – так думал я.

Помню весьма любопытное посещение председателя Российского Комитета по делам издательств Николая Васильевича Свиридова. Просидев битый час в его приемной, я все-таки дождался приема и, когда секретарша сказала мне: «Николай Васильевич ждет вас», вошел в кабинет и вместо того, чтобы попросить министра о включении в планы какой-нибудь своей книги (что делали 99 из 100 посещавших его писателей), протянул ему письмо на 12 страницах и попросил прочитать при мне. Надо было видеть испуг и смятение этого хорошего русского человека, прошедшего войну, награжденного орденами, участника Парада Победы. Когда он, прочитав письмо, после минуты молчания поднял глаза, в них была сплошная мука. Взгляд его говорил: «Ну зачем мне это знать! Зачем ты ко мне пришел! Я же тебя совсем не знаю. А вдруг ты – провокатор!» После долгого, становившегося просто неприличным молчания министр выдал из себя только одну фразу: «Да, с сионизмом надо бороться...» Я поблагодарил его, вышел из кабинета, убедившись, что у людей этого уровня поддержки не найти, что они боятся, а от страха смогут и осудить и предать... И лишь после этой мысли я понял: правильно сделал, оформив свое сочинение как письмо члена партии в родной Центральный Комитет, пусть все выглядит как моя забота о судьбе культуры, идео-

логии и государства, чтобы не «сгореть дотла», пусть оно выглядит официальным документом, а не как нелегальная листовка, пусть лучше меня проработают в ведомстве Зимянина, а не Андропова. А пока прорабатывают – пусть письмо расходуется по руслам и ручейкам патриотического Самиздата. Я уже знал, что в отличие от диссидентско-западного существовал и Самиздат такого рода.

В эти дни вдруг ко мне, секретарю Московской писательской организации, зашел наш куратор из Комитета госбезопасности, он и раньше заглядывал в организацию, чаще к первому ее секретарю Феликсу Кузнецову или к Юрию Верченко, иногда заходил и к нам, рабочим секретарям, для того, чтобы выяснить настроения, узнать, кто что натворил, кто собирается уезжать. По многим признакам можно было понять, что это человек русский, государственный, не чуждый патриотических мыслей и чувств. Я, в частности, вспоминаю, как за год-полтора до моего письма, когда гроза нависла над Сергеем Семановым, тогда главным редактором журнала «Человек и закон», за хранение в служебных столах какой-то патриотической эмигрантской литературы, этот сотрудник как бы случайно на ходу встретился со мной и попросил передать Семанову, чтобы тот предпринял все возможные меры для своей защиты.

А в эту нашу встречу перед своим окончательным решением о передаче письма в ЦК я прямо спросил его – правильно ли я поступаю.

– Сколько экземпляров вы уже раздали? – спросил он.

– Пять, – ответил я.

– Запомните: нельзя, чтобы было больше восьми. Это как бы для служебного пользования. А если копий будет больше восьми, то по нашим инструкциям вы будете обвинены в распространении... Это уже другая статья, куда более опасная.

Я спросил его:

– Где будут со мной разговаривать после того, как письмо будет отправлено – в ЦК или КГБ?

– Видимо, в ЦК. Но если вас будут вызывать на Лубянку, я постараюсь, чтобы вы попали в русские, а не еврейские руки. (В октябре 1993 года я встретил этого человека в окруженном омоновцами Верховном Совете. Он был одним из организаторов обороны.)

Мой начальник Феликс Кузнецов ничего не знал о моих коварных планах. Во-первых, поскольку я ему ничего не сказал, чтобы не подставлять его. А во-вторых, я понимал: покажу – он сделает все, чтобы я не отсылал письма, запретит. Срочно уйдет за границу. Что-нибудь пообещает, в чем я нуждаюсь. Соблазнит... В-третьих, все время, пока я работал с ним, меня точила мысль о том, что несколько абзацев из его статьи «Советская литература и духовные ценности», опубликованной в ноябрьском номере журнала «Нации и религии» за 1972 год, чуть ли не буквально были повторены в знаменитом русофобском сочинении А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», появившемся буквально в те же самые дни. Не хотелось думать, что Феликс участвовал в создании яковлевского документа, но «все же, все же, все же...» Нет, всю ответственность я должен взять на себя одного. Одному – легче...

Официальный гром грянуть не замедлил: такое неожиданное толкование и такое несанкционированное обсуждение «Метрополя» крайне раздражило чиновников из ЦК. К тому же вслед за моим письмом в русском Самиздате стало гулять по рукам письмо некоего Василия Рязанова (конечно, это был псевдоним), в котором автор пошел много дальше меня:

Это происходит потому, – писал Рязанов, – что в аппарате ЦК КПСС существует могущественное сионистское лобби, покрывающее неблагоприятную деятельность антисоветской агентуры и не позволяющее ее пресекать под тем благовидным предлогом, что это, дескать, вызовет обвинение в антисемитизме, отрицательную реакцию «мирового общественного мнения» и нанесет ущерб разрядке... Можно назвать и конкретных лиц в аппарате ЦК, покрывающих деятельность сионистско-диссидентских групп, это прежде всего Севрук Вла-

димир Николаевич, зам. зав. отделом пропаганды ЦК, и Беляев Альберт Андреевич, зам. зав. отделом культуры... Чехословацкие события не должны повториться в нашей стране.

Письмо Рязанова пошло по рукам, стало широко известным, и этой «нелегалщины» наши цековские покровители вынести не смогли. Но они сделали паузу в два месяца, ожидая, видимо, откликнутся ли на мое письмо крупнейшие литературные вожди так называемой «русской партии» – Леонид Леонов, Анатолий Софронов, Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Владимир Чивилихин, Сергей Викулов, Анатолий Иванов, Петр Проскурин, Егор Исаев... Но из них не откликнулся никто. Прочное литературное и общественное положение, менталитет патриотических генералов от литературы, сознание своего влияния и благополучия, опасение потерять немалые материальные возможности, просто житейская и человеческая осторожность, видимо, не позволили им открыто поддержать меня. Думаю, что, когда во время перестройки их творчество, их имена, их репутации были безжалостно осмеяны и оболганы, многие из них пожалели о том, что в свое время не помогли мне. Как и мой прямой начальник Феликс Кузнецов, который сказал мне в те дни историческую, врезавшуюся в мою память фразу: «Ты, Стасик, нарушил законы ролевого поведения, и за это придется заплатить». «Ролевого» – от слова «роль». Но я не играл. Это была борьба за жизнь, это было отчаянным шагом, поскольку я предчувствовал, что ежели мы не выиграем сражение сейчас, в выгодных для нас условиях, то впереди нас ждут худшие времена.

В литературно-идеологической жизни 60–70-х годов для характеристики скрытого русско-еврейского противостояния бытовал термин «групповщина». Так сложилось, что с одной стороны ее возглавляли «официально правые», с другой – «официально левые». Официально правыми считались, к примеру, Александр Прокофьев, Егор Исаев, Анатолий Иванов, Всеволод Кочетов, Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Михаил Алексеев. Лагерь официально левых возглавляли Константин Симонов, Даниил Гранин, Александр Чаковский, Валентин Катаев, Борис Полевой, Андрей Дементьев...

Попасть в обойму «официальных» было почетно и денежно – гарантированные издания, премии, загранкомандировки, квартиры. Их не клевала, за редчайшими исключениями, критика, они были неприкасаемыми авторитетами, давшими обязательство за все эти блага обеспечивать идеологическое равновесие в литературе. С годами к лагерю официально правых потянулись Владимир Фирсов, Валентин Сорокин, Владимир Чивилихин, а официально левые укрепили свои ряды именами Евтушенко, Вознесенского, Коротича.

Мы ясно ощущали и понимали такое положение дел, демонстративно сторонились официально левых, брезговали ими и не раз публично высказывали свое отношение к ним.

Официально правые были нам ближе – все-таки свои, русские! Но сближаться с ними окончательно означало потерять независимость своих оценок, подчиниться своеобразной групповой дисциплине, и мы не желали этого.

Кто мы? Юрий Селезнев, Вадим Кожинов, Анатолий Передреев, Петр Палиевский, Сергей Семанов, Анатолий Пайщиков, Михаил Лобанов... Объективный ход событий все больше и больше сближал нас с Беловым, Распутиным, с Юрием Кузнецовым.

Наше брезгливое негодование возбуждали одинаково как Вознесенский, отрыгнувший в Америке стишок по поводу Шолохова: «Один роман украл – не смог украсть другой», так и Егор Исаев, давший рекомендацию стихотворцу, заместителю Шеварднадзе некоему Анатолию Ковалеву. Впрочем, за цековскими и правительственными чиновниками-графоманами в то время с рвением ухаживали многие литераторы: к книге пресловутого Ковалева хвалебное предисловие сочинил Владимир Огнев. А стоило только партийному функционеру В. Печеневу стать помощником генсека К. У. Черненко, как о его весьма заурядной публицистической книжке тут же появилась в «Литературной России» подобострастная статья модного критика Евгения Сидорова, будущего министра культуры ельцинской эпохи.

Верхушку официально правых не случайно совершенно не тронула скандальная статья А. Яковлева «Против антиисторизма». Она была скорее направлена против «второго эшелона» русских писателей, то есть против нас. Грозным предупреждением для правых стали дела «русских националистов» Бородина, Огурцова и Осипова. Этими делами власть как бы поставила предел нам: эту границу переходить нельзя! Левым же граница их идеологических поисков была поставлена высылкой за границу Иосифа Бродского и процессом Даниэля и Синявского...

Помню, как по окончании одного из писательских съездов, во время банкета заведующий отделом культуры ЦК КПСС Василий Филимонович Шауро – худой, высокий, седоватый старик, демонстрируя «единство партии и народа», пошел вдоль ряда столов, уставленных водкой и закусками. Писатели отмечали в Кремлевском Дворце окончание съезда. Он шел молча с бокалом в руках, кивками поздравлял писателей с успешным окончанием работы, прихлебывал время от времени из бокала за их здоровье, но не говоря никому ни слова, словно бы оправдывая прозвище, которое укрепилось за ним: Великий Немой. И вдруг ни с того ни с сего остановился возле меня и Бориса Романова. Мы встали, чтобы чокнуться, и Великой Немой вдруг заговорил, обращаясь ко мне, но так, чтобы слышали все остальные:

– Политика партии в том, чтобы в разумных пределах поддерживать все группировки писателей. Мы не можем выделять особо ни одну из них. Качели не могут качаться в одну сторону. Выдержать равновесие – вот наша задача с вами. За это и выпьем...

Мы выпили, и он пошел дальше, продолжая молчаливый обход писательских рядов.

Впрочем, интересы еврейского лобби в 60–80-е годы, к сожалению, обслуживала и целая прослойка функционеров-литераторов русского происхождения: Анатолий Ананьев, Вадим Кожевников, Сергей Наровчатов, Сергей Баруздин, Михаил Колосов, Анатолий Чепуров, Афанасий Салынский – главные редакторы крупнейших литературных изданий, видные чиновники. Скорее всего потому, что благодаря поддержке или в лучшем случае лояльности еврейских кругов можно было рассчитывать на то, что ЦК утвердит тебя на каком-либо значительном посту. А сколько было именитых литераторов, посвятивших свои перья службе этой касты! На сем славном поприще рьяно подвизались и нынешний академик-литературовед Петр Николаев, с лекций которого в МГУ мы сбегали по причине их непроходимой бездарности и скуки, и другой академик Дмитрий Лихачев, и членкор Вас. Вас. Новиков, и редактор сегодняшнего «Знамени» Сергей Чупринин, да и цекушник Альберт Беляев тоже ведь был писателем. Что говорить, если это «русское крыло» возглавлялось Георгием Марковым и Сергеем Михалковым, вскормившим целое войско «классиков детской литературы» – и ее критиков и никому не нужных исследователей. Но ничто не проходит бесследно. Как правило, русские люди, пошедшие в службу к еврейскому лобби, были или совершенно бесталанными литераторами, или, очень быстро (Наровчатов, Михалков, Дудин, Луконин) истратив все свои способности в молодые годы, во вторую половину жизни становились всего лишь навсего высокопоставленными представителями обслуживающего персонала, которых в душе презирали и настоящие русские и умные евреи.

Да, эти шабесгой были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:

С евреями ведя дела, чувствуешь, что все «идет по маслу», все стало «на масло», и идет «ходко» и «легко», в высшей степени «приятно». (...) Едва вы начали «тереться» около него, и он «маслится» около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все «по маслу» течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться «в себе» и «один», остаться «без масла», – вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обес-

пложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с «маслом» и евреем/ – и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас, – пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирно и повторяется везде – в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности – безъяичный, он присасывается «пустым мешком себя» к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен «удивительными сокровищами в вас», которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому «имитировать», всему этому «подражать» – все искажает «пустым мешком в себе», своею космогоническою безъяичностью и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию – поддельною поэзиею, вашу философию – философической риторикой и пошлостью (...)

И так – везде.

И так – навечно.

Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь, – не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в «высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо»... А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» ... Через два месяца после передачи письма я был приглашен «на ковер» в апартаменты ЦК КПСС.

За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.

– Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? – Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался...

...В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух- или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно – именно он будет исключать меня из партии.

Беляев сразу начал проработку:

– Письмо ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это – нарушение партийной дисциплины!

Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного Комитета России по печати.

Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:

– На основе вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!

– Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, – отпарировал я.

– Но как вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! – сорвался на фальцет Беляев. – Мы издали антиссионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова... В заграничных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов...

В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, «добрый следователь» – Владимир Севрук:

– Стихотворение о народе по имени «И» Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира – это безобразие, но вот мы издали новый букварь, – Севрук показал его мне, – где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне – то я против подобных его рассуждений... Да, вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской...

Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях.

Это позволило мне еще раз перебить его:

– «Литературная газета» Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клеветает на Шолохова: «Один роман украл – не смог украсть другой». А его «непобедимо синий завет» – что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги – разве это нормально?..

Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:

– Да, практика поездок по вызову порочна, но вам лишь кажется, что вы боретесь с сионизмом, на самом деле вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.

В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:

– Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь... – Он положил трубку: – Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение.

В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:

– Собрание сочинений Гейне, как вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена... Тогда же издали 9-й, антисоветский том Бунина с его «Алешкой третьим» и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слащова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине – лютом антисоветчике – монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!

...Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала... Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмоционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.

– Вот вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.

Я быстро нашелся:

– Да, вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!

– Багрицкий – революционный поэт! – сорвался на крик Беляев.

– Да, но поэма «Февраль» и революционная и сионистская одновременно.

– Опять двадцать пять! – уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.

Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе,

за которую его приняли в Союз писателей... А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.

Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.

– Альберт Андреевич! Можно вас на минуту?

Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:

– У меня нет времени!

– Да я по поводу своей статьи в «Литературной газете»...

Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:

– Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! – И столько было в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел...

А в конце 80-х, когда ему, учившему меня бороться с сионизмом на благо советской власти, за заслуги в деле ее разрушения дали пост главного редактора газеты «Советская культура», он, всю жизнь учивший нас партийности и социализму, сразу сделал газету и антисоветской, и антикоммунистической, и еврейской, и бульварной.

Забавное продолжение истории с моим письмом в ЦК последовало через несколько месяцев, когда летом я уехал на Рижское взморье поработать в писательском Доме творчества. Рядом со мной на этаже жил главный редактор «Литературной газеты» Александр Чаковский. Он курил сигары, и вонючий запах, выползавший из-под двери его номера, означал, что в эти часы Чаковский трудится над очередным томом очередной эпопеи.

Однажды мы с ним встретились в коридоре, и он неожиданно предложил мне:

– Станислав Юрьевич, зайдемте ко мне, надо поговорить.

Оказывается, Чаковский, занимавший в идеологической иерархии при Брежневе приблизительно то же место, что Эренбург при Сталине, захотел объясниться со мною по поводу моего письма.

Расспросив меня о моем национальном и социальном происхождении, он задумался, раскурил сигару и, усевшись в кресло, начал свой монолог:

– Я по натуре своей чекист. Хорошо, что мы с вами беседуем вот в такой мирной обстановке. А то ведь могло бы случиться, что разговор у нас с вами сложился бы приблизительно так: вы, гражданин Куняев, наслушались западного радио о близкой смерти Брежнева, решили спровоцировать, когда это произойдет, еврейские погромы, чтобы на этой волне сделать себе карьеру. Уведите арестованного! Вот вы пишете в письме, что боретесь с сионизмом. А на самом деле настоящий борец с сионизмом – это я. Я уже в 16–17 лет ездил организовывать в Поволжье колхозы и сражался в Саратове с сионистами. Они тогда уже начали уезжать в землю обетованную, пока Сталин гайки не закрутил. Но я был против их отъезда, я хотел, чтобы евреи строили свою социалистическую родину... Станислав, вы не отдаете себе отчета, сколько пришлось пережить и перестрадать евреям. Дальше я цитирую наш разговор по записи из моего дневника от 23.8.1979 г.

Чаковский:

– Когда началась война, Сталин увидел, что все интернациональные идеи, все разговоры о солидарности с германским рабочим классом и международным пролетариатом – фикция. Он решил сделать ставку на единственно реальную карту – на национальное чувство русского народа. Постепенно из армии убрали всех евреев-политруков, пропаганда наша всячески стала использовать имена русских полководцев, верхи стали заигрывать с церковью, а после победы Сталин произнес знаменитый тост за русский народ. Но распла-

титься с русским народом за его жертвы было нечем, оставалось лишь одно – объявить его самым великим, самым талантливым. И в угоду этому началась кампания против космополитов, дело врачей, разгон еврейского комитета. Что было! Люди бежали из больниц, натягивали на себя одеяла, когда к ним подходили врачи-евреи. А когда наступил 56-й год и пошли всяческие реабилитации, то среди этих реабилитаций не были реабилитированы евреи, пострадавшие в антисемитских кампаниях. А теперь объясните какому-нибудь рядовому Хаиму, почему этого не произошло. Он живет с обидой в душе, и на эту обиду очень легко ложится всяческая сионистская пропаганда, и Хаим подает заявление на выезд в Израиль..

– Александр Борисович! – возразил я ему. – Если говорить о всякого рода реабилитациях, давайте отвлечемся от узко еврейской точки зрения. Что такое «дело врачей» или борьба с космополитизмом по сравнению с трагедией раскулачивания? Пустяк, ерунда сущая, не имеющая значения для жизни народа.

Раскулачивание, Соловки, Нарым, Волго-Балт, лесоповалы – вот что потрясло Россию до основания, подточило ее здоровье и устойчивую хозяйственную мощь.

А кто руководил этими процессами?

Вы же сами сказали мне, что в шестнадцать с половиной лет вы, сын богатого еврейского нэпмана, в своей самарской губернии создавали колхозы. Что вы могли в этом возрасте знать о жизни, которая здесь складывалась столетиями и которую вы нещадно ломали?

Почему вы не говорите о том, что нужно было бы реабилитировать несправедливо сосланных на Север, закопанных на Волго-Балте, сгнивших на Соловках?

Почему в том же 1956 году им, кто остался в живых, или их потомкам не объявить, что они были сосланы или уничтожены несправедливо, чтобы не было пятна осуждения на этих людях или их потомках? Я отвечаю почему.

Во-первых, потому, что их судьбы вас не интересуют, вас тревожит лишь обида Хаима, сын которого не смог поступить в Институт международных отношений, а поступил всего лишь навсего в пушно-меховой или мясомолочный.

А во-вторых, потому что надо было обнародовать имена всех ответственных за эти деяния руководителей ГУЛАГов, больших и малых, что действительно могло бы привести к погромам.

Чаковский переменялся в лице:

– Ах вот как вы ставите вопрос!..

Но во гневе сдержался, решив не продолжать разговор на эту тему, перешел на литературу.

– Станислав! Будьте центристом! Я ничего не понимаю в поэзии, я политик. В политике мало быть правым, надо убедить всех в своей правоте. Мне нравится ваш «Карл Двенадцатый», острая мысль о парадоксе власти. Но все эти ручейки, травки, березовые рощи – на этом имени не сделаете.

Вот вы пишете о Бунине – «тяжко без родины жить, а без души тяжелее». Сказано афористично, но нельзя забывать о том, что Бунин был большой сволочью. А что вы пишете о каких-то «евреях в Пентагоне»? Их там нет, они есть в Конгрессе. Не возражайте мне, что это, мол, условно, символически, обобщенно, такие политические формулировки должны, быть точными.

Спорили мы с ним целый вечер, и ушел я от него, сопровождаемый заверениями, что он-то и есть настоящий борец с сионизмом.

Вечером на прогулке ко мне подошел прозаик Елизар Мальцев, известный шабесгой из русских. Он, видимо, уже узнал о моем разговоре с Чаковским.

– Мне вас жалко, Станислав, вас больше никуда не выберут! И вообще, я натерпелся от русских куда больше, чем от евреев. Евреи мне всегда помогали, а сам я из раскольников, из семейских, сейчас пишу историю своего рода.

Но все же при советском еврее-государственнике Александре Чаковском невозможно было представить себе потоки зловонной русофобии, в которой стала просто купаться «послечаковская» «Литературная газета», на чьих страницах русская история стала изображаться так: «Облачившись в державный зипун и затолкав под лавку прокисшие портянки, объявить русский дух самым духовитым во всей вселенной», «дыша перегаром, державник начинает неторопливо разматывать портянки, сладострастно ожидая момента, когда можно будет закричать: «Наших бьют!». «Казенного патриотизма, усердно поливавшего великодержавным дезодорантом пропотевший зипун общества – Россия нахлебалась вдоволь», «И петровские, и сталинские методы индустриализации России оказались на поверку бамбуковыми суррогатами» и т. д. и т. п. (Л.Г. № 28. 1995 г.) Это – журналист Б. Туманов, всю жизнь проработавший за границей и всю жизнь, видимо, «сладострастно» лелеявший в своей душонке ненависть к России. А я-то по наивности 20 лет тому назад думал, что худшего русофоба, нежели А. Чаковский, у нас найти невозможно. Однако в скором времени после разговора с ним мне попала в руки западная газета, в которой бывший сотрудник «Литературки», уехавший в Америку, писал о своем главном редакторе и нравах «Литгазеты»:

В «Литгазете» еврей был главным редактором (Чаковский) и ответственным секретарем (Гиндельман), отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки – еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значил этот загадочный филосемитизм?

...То, что я попал в самую умную, самую демократичную и самую еврейскую газету в стране, в моих глазах искупало все.

Вот вам и государственный антисемитизм 70-х годов... Да что говорить о семидесятих!

«Государственный антисемитизм в СССР. – пишет, к примеру, историк Борис Фрезинский в «Русской мысли» от 2 апреля 1997 года, – как раз в пору 1948–1953 годов достиг накала, чреватого «окончательным решением еврейского вопроса».

...В 1952 году я поступил на филологический факультет Московского университета.

Последний год царствования Иосифа Сталина. Но что бы ни говорили об этой эпохе нынешние продажные борзописцы, свидетельствую: наше школьное образование было таким, что мы – дети врачей, учителей, итээровцев, послевоенных вдов и матерей-одиночек, и даже крестьян-колхозников из провинциальных областных и районных городков и сел России, – приехав в Москву, «замахнувшись» на лучшие вузы страны, без всякого блата, без мохнатых рук, без взяток на равных выдерживали состязание за право учиться на Моховой, в МВТУ, в МАИ, в Энергетическом и Медицинском с сыновьями партийных работников, дипломатов, генералов, словом, с любыми отпрысками столичной элиты. Вот какие знания получали мы в любых, самых отдаленных от Москвы уголках, вот какую универсальную и справедливую мощь таила в себе поистине народная, демократическая школьная система советской эпохи. Но воспоминания мои – о другом. Я смотрю на громадное казенное фото нашего выпускного курса 1957 года, где каждый из нас в овальной рамочке, над нами несколько фотопортретов наших лучших преподавателей, в центре ректор МГУ Петровский, – смотрю, читаю фамилии, вглядываюсь в молодые студенческие лица и понимаю, что не менее сорока студентов из двухсот двадцати, поступивших на первый курс филфака,

были нашими советскими евреями. И это – в период между 1949-м и 1953 годами, между кампанией против космополитов и «делом врачей»!

Судя по сегодняшним стенаниям борщаговских и Рыбаковых, в те годы государственный антисемитизм якобы достиг такого накала, что легче было верблюду пролезть в игольное ушко, нежели бедному еврейскому отпрыску войти под своды главного храма науки... А тут почти двадцать процентов – еврейские юноши и девушки! Эх вы, летописцы, мемуаристы, лжесвидетели...

А если вспомнить о сталинских тридцатых годах, то не обойтись без объективного свидетельства Эммы Герштейн (не самой большой русофилки), которая несколько лет тому назад писала в «Новом мире»: «Моя мать, совершенно неприспособленная к грубости и жестокости советской жизни, все же благословляла ее за отсутствие антисемитизма...»

А где же, по наблюдениям Эммы Герштейн, в те годы гнезился антисемитизм? Оказывается, в буржуазной «цивилизованной» Латвии!

Придя к Лене, я застала у нее поэта Ваню Приблудного. С собой он привел писателя, сына известного экономиста М. И. Туган-Барановского. Он жил в буржуазной Латвии... рассказывал о своей жизни в Риге. Он был женат на еврейке. На взморье были разные пляжи – для евреев и христиан. Он шокировал родню своей жены, показываясь на еврейском участке, а она выглядела белой вороной на христианском. Туган рассказывал об этом смеясь, а мне казалось, что я слушаю какие-то сказки о доисторических временах.

Да, далеко было нашему советскому «государственному антисемитизму» до антисемитизма западного, гуманного, культурного!

Беда патриотов – идеологов русской партии, да и моя беда, заключалась в том, что мы в борьбе с агрессивным внутрисоветским еврейством взяли на вооружение официальный термин «сионизм» и ничтоже сумняшеся употребляли его часто не к месту, искажая и запутывая смысл происходящих процессов. А надо было говорить просто о засилье еврейства, о еврейской воле к власти, о мощном групповом инстинкте этой касты, о ее влиянии на партийную верхушку. Мы же, опасаясь прямых репрессий, прикрывали свои взгляды формулировкой из официального идеологического арсенала и попадали в ложное положение, а партийные чиновники типа Беляева и Севрука ловко пользовались нашей непоследовательностью. Но и они тоже были обескуражены.

Сионизм считался официальным врагом советской системы, с ним надо было бороться. Я тоже поставил их в ложное положение. Им очень не нравилось содержание моего письма, но это раздражение приходилось изливать по поводу форм его обнародования.

– Надо быть умнее сионистов, – поучал меня Беляев, – и не давать им поводов для провокаций. Вы же действуете точно так, как Солженицын: пишете письмо якобы в ЦК, а на самом деле пускаете его по рукам!

Опытные партийные функционеры сразу же разгадали наивный план моих действий, тем не менее ничего серьезного сделать со мной не могли. Я защищался достаточно умело, да и в письме было много неоспоримых фактов, с которыми соглашался Севрук:

– Да, поэма Сулейменова о Ленине – плохая поэма.

– Говенная! – добавил Беляев.

– И стихи Вознесенского – тоже плохие стихи, – продолжал Севрук, – слабые...

– Говенные! – в сердцах повторил Беляев.

Несмотря на драматичность сцены, я не мог удержаться от смеха, а Севрук, видимо, обязанный «отмазать» свой отдел пропаганды и доказать, как он борется с антисоветчиками, – неодобрительно глянув на меня, высыпал целую грудку фактов, свидетельствующих о его бдительности:

– Журнал «Аврора» опубликовал монархические стихи, – мы редактора журнала сняли, редакцию укрепили, мы сняли главного редактора журнала «Простор» в Казахстане за политически сомнительный детектив. Мы убрали с должности нескольких цензоров.

Он перечислял свои заслуги с такой интонацией, как будто перед ним сидел не я, а Суслов или Зимянин, из чего я заключил, что разговор со мной – своеобразная репетиция для разговора с высшим начальством о принятых мерах. Прорабатывая меня, они оба как бы искали материалы и формулировки для своего спасения и для своей защиты. Им было за что меня ненавидеть. Я понял это и даже пожалел их, сказав на прощанье примирительным тоном:

– Я не шовинист, Альберт Андреевич, я перевел несколько книг лучших наших поэтов из республик. Может быть, в моем письме и во всем, что получилось вокруг него, есть какие-то неточности и сомнительные моменты, но я ведь вижу, что по существу вы согласны со мной!

Беляев открыл рот, пораженный моей наглостью, но, сообразив, видимо, что дискуссия затянулась и что начинать все сначала смешно, просверлил меня своими ледяными глазами, и мы распрощались...

Когда на другой день я встретился с Феликсом Кузнецовым, он, уже знавший о разговоре, коротко сказал мне:

– Ну, получил ответ на свое письмо?

– Получил.

– А теперь уходи, Стасик, в отпуск.

– А можно месяца на два?

– Ты шутишь? Уходи на полгода...

Я с облегчением вздохнул и поехал рыбачить на Север, к берегам холодного Белого моря. Эмигрировал – в Россию.

Перед отъездом меня по какому-то пустяковому поводу пригласил к себе опытнейший чиновник, руководитель всего нашего Союза писателей Георгий Мокеевич Марков и в конце разговора, как бы случайно вспомнив нечто из своей жизни, сказал:

– Меня, Станислав, в свое время пригласили работать в Союз писателей секретарем парткома. Я был молодой, горячий, ну, как ты. Приехал в Москву, познакомился с писательской жизнью и стал поднимать в разговорах те же проблемы, что и ты сегодня. Тогда Федин меня вызвал и говорит: «Ты, Гоша, землю копать умеешь?» – «Умею». – «Так вот, возьми лопату, выкопай яму поглубже, свали в нее все свои еврейские вопросы и землей засыпь. И сверху камень привали, чтобы не вылезали». Вы поняли, Станислав, что я вам хочу сказать?

А чего еще тут было понимать? Все и так яснее ясного...

А с режиссером всей этой проработки, секретарем ЦК Михаилом Васильевичем Зимяниным лицом к лицу я столкнулся через несколько лет на очередном съезде российских писателей.

По окончании съезда в необъятном банкетном зале Кремля происходил традиционный прием. За моим столом сидел Юван Шесталов, мансийский поэт. Рангом поменьше Гамзатова и Кугультинова, но все же «живой классик». Человек, любящий выпить. Но то ли водки было мало, то ли братья- писатели пили энергично, но напиток за нашим столом быстро кончился... Шесталов вознегодовал: «Пойдем к столу почетного президиума (он стоял на некотором возвышении), у них водки навалом!» Удержать его не было возможности, и мы оба рванулись к столу, во главе которого сидел Зимянин. Очутившись прямо напротив него, Шесталов, поддерживаемый мной, в отчаянье закричал, простирая пустой фужер к Зимянину:

– Михаил Васильевич! У рядовых писателей водка кончилась.

Официанты, проглядевшие наш маневр, бросились к Ювану, один наливал ему водку в фужер, другой разворачивал от стола, а маленький Зимянин, поглядев на меня глубоко запавшими глазами, устало сказал:

– А, это опять вы! И когда научитесь отличать евреев от сионистов?

– Я только этим и занимаюсь в последние годы, – печально отшутился я и, повернувшись, пошел за счастливым Юваном Шесталовым.

Несколько лет спустя обычно осторожный и хорошо информированный Александр Борщаговский – вечный партийный функционер еврейского лобби – на партийном собрании вспомнил о моем письме в ЦК:

Мы ведь люди с исторической памятью (мы тоже. – Ст. К.). Во вновь избранном секретариате есть по крайней мере два человека, против которых я возражал бы настойчиво и по праву, если бы состоялась партгруппа. Пока Станислав Куняев не откажется публично от грязного, печально известного письма в ЦК, пока он не откажется от враждебной интернационализму позиции, которую он, к слову сказать, подтвердил в публичной дискуссии «Классика и мы», нельзя за него голосовать как за одного из руководителей организации. Мы выбираем руководителей, и человек, не доросший до идей интернационализма, духа социализма, человек, который, не затрудняясь вытереть ноги о стихи Багрицкого, не годится в секретари Союза...»

Борщаговский не рассчитал, что время идет быстро, и дал петуха, ибо через два-три года еврейское советское писательское лобби сдаст Багрицкого, а по старости утративший политическое чутье Борщаговский чуть запоздает и лишь еще через пару лет «сошьет» столь дорогой для его сердца «дух социализма» в книге «Обвиняется кровь».

Много я натерпелся от всякого рода борщаговских в те годы. Не раз мою фамилию склоняли они со всех партийно-писательских трибун. Иногда напускали на меня тяжелую артиллерию – Вениамина Каверина и Маргариту Алигер, которые должны были выступать со мной на вечере памяти Заболоцкого, но заявили цедеэловскому начальнику тех лет Михаилу Шапиро, что если, мол, Куняев придет в президиум, то они сейчас же покинут его. А бывало, что герои Советского Союза шли в атаку – два летчика Марк Галлай и Генрих Гофман.

А Константин Симонов, которого я однажды попросил по долгу службы, как рабочий секретарь Московской писательской организации, чтобы он провел вечер поэзии в Лужниках, вдруг придал своему холеному лицу надменное выражение и отчеканил:

– Я с людьми, которые топчут поэзию Багрицкого, дела иметь не хочу! – и победоносно поглядел на двух руководителей ЦДЛ – Филиппова и Шапиро, взиравших на него с благоговением, как еврейские Бобчинский и Добчинский на Хлестакова. Я за словом в карман не полез и жестко отрезал:

– Баба с возу – кобыле легче!

Пошел в кабинет, позвонил Анатолию Софронову, и мы прекрасно провели вечер в Лужниках...

Словом, и смех и слезы... А что мне было делать, если родная партия серьезно прислушивалась к тому, что говорят Борщаговский, Гофман, Симонов?

Да, тот же самый Симонов, который в марте 1953 года, вскоре после смерти Сталина написал Никите Хрущеву письмо с предложением очистить Союз писателей от бездарных еврейских литераторов, пролезших в Союз благодаря связям, ничего талантливого не создающих и живущих за счет литфондовских пособий.

...Совсем недавно, в 1998 году, в Третьяковской галерее собрались все старые работники отдела культуры ЦК – вспомнить прошлое, выпить по рюмке за своего бывшего шефа, полюбопытствовать, кто как живет в новой жизни. Среди собравшихся был мой друг, ныне мой заместитель по журналу, а в прошлом работник отдела Геннадий Михайлович Гусев...

Белорус Шауро, с малолетства росший, насколько мне известно, как приемный сын в местечковой еврейской семье, в одном из залов Третьяковки внезапно отозвал Гусева для конфиденциального разговора один на один и сказал ему:

– Передайте Сергею Викулову и Станиславу Куняеву, что в борьбе, которую они вели в семидесятые годы, были правы они, а не я. Очень сожалею об этом...

Я уже писал о том, что после моего письма многие осторожные мои коллеги стали меня сторониться. Иные по причине того, чтобы держаться подальше от еврейского вопроса. Недавно мой давний товарищ критик Л. Л. показал мне страницы своего дневника за 1979 год и напомнил об одной почти комической истории, которую я позабыл и невольными участниками которой мы с ним стали. Цитирую по дневниковой записи Л. Л. от 2.06.1979 г.

Письмо Куняева я читал на заседании секции поэтов. Потом мы вдвоем – Жигулин, Куняев и я – вышли в фойе, чтобы поговорить о письме. В этот момент мимо проходил Вознесенский, неожиданно заулыбался и подошел к нам. Протянул руку мне и Жигулину. «А тебе, наверно, не надо подавать руки?» – «Я ее и не пожму», – ответил Станислав. Тут же состоялся обмен колкостями и прямыми обвинениями. Вознесенский попрекал «доносительством» и «карьеризмом», Станислав говорил о его «продажности» и «делачестве». Жигулин стоял вплотную к нам троим и внимательно слушал разговор. Когда же я обратился к нему: «Ну, а ты что скажешь?» – то последовал ответ: «А я глуховат и не все расслышал, о чем они говорили». Минут же за десять до этого на заседании секции Жигулин шептал мне в ухо, чтобы я голосовал против одного юмориста, и прекрасно расслышал мой ответный шепот, что я не имею права участвовать в голосовании.

И дальше из дневника того же Л. Л., у которого я вскоре побывал дома:

«Сломленный человек», – сказал о Жигулине Станислав без всякой злобы. Я понял, конечно, что за этими словами. Восемь лет ссылки не могут укрепить в человеке оптимизма и доверия к ближним. Говорили мы со Станиславом о русской интеллигенции.

Тут он говорил немало дельного. Сказал, что его письмо в ЦК – эксперимент на себе: увоят или нет. И еще, дескать, хочется избавить русских интеллигентов от пессимизма – слишком много безнадежных настроений.

И это правда. Ибо я убедился, что в памяти русских людей особенно старшего поколения с 20–30-х годов жил страх перед еврейством почти на генетическом уровне. Я помню, как в 70-е годы я приезжал к матери в Калугу. Двумя этажами выше нас жил первый секретарь обкома КПСС, член ЦК КПСС Андрей Андреевич Кандренков. Таких, как он, властных чиновников в России было чуть более сотни. И, однако, он жил в одном подъезде с учителями, врачами, работниками железной дороги, пенсионерами. У него была лишь одна льгота – его квартира состояла из двух соединенных квартир, он с женой и дочкой занимал пять комнат общей площадью не более 100 квадратных метров. (Да в такой квартире сейчас ни один уважающий себя новый русский жулик жить не будет!) Впрочем, была еще одна льгота. В подъезде постоянно стоял милиционер, что было положено каждому члену ЦК КПСС. Жители подъезда были довольны: милиционер заодно охранял их всех. Я уже был известным поэтом и Кандренков время от времени приглашал меня по вечерам погулять по Калуге, поговорить. Мы выходили из подъезда, милиционер следовал за нами. Выходили со двора на улицу, и помню, как однажды, оглядевшись по сторонам, убедившись, что вокруг нет случайных прохожих, Кандренков вдруг приказал милиционеру отстать на несколько шагов и, видимо, наслышанный о моем письме в ЦК, шепотом вдруг спросил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.